

# СЕРГЕЙ ЛЮБЕЦКИЙ

ВЕЧЕРА НА КЛАДБИЩЕ.  
ОРИГИНАЛЬНЫЕ  
ПОВЕСТИ ИЗ  
РАССКАЗОВ  
МОГИЛЬЩИКА

# Сергей Михайлович Любецкий

## Вечера на кладбище.

### Оригинальные повести

### из рассказов могильщика

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=37661727](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=37661727)*

*Вечера на кладбище. Оригинальные повести из рассказов могильщика:*

*Ногинск; 2018*

*ISBN 978-5-85689-230-6*

### **Аннотация**

Прекрасная книга незаслуженно забытого русского писателя, современника Пушкина и Гоголя, наглядно доказывает, что у нас была великая мистическая литература, несправедливо задавленная в годы господства коммунистической идеологии. Книга написана как сборник философских новелл на темы потустороннего мира с лёгким налётом сатиры и мистицизма. Но что действительно удалось автору – это картинки жизни и быта Старой Москвы и москвичей XVIII – начала XIX веков. Впервые выйдя в свет в год смерти Пушкина, анонимно, без имени автора, эта книга с 1837 года более не переиздавалась, но послужила своеобразным трамплином для начинающего писателя. После этой своей первой публикации Сергей Михайлович Любецкий (1809-1881) прожил большую

и насыщенную жизнь. Он опубликовал 4 романа, сборники исторических и нравоучительных повестей, сатирические рассказы и фельетоны, исторические очерки; писал пьесы и навеки вошел в историю русской литературы как выдающийся москвовед.

# Содержание

От автора	6
Часть первая	8
Вечер первый	8
Вечер второй	59
Конец ознакомительного фрагмента.	97

**Сергей Михайлович  
Любецкий  
Вечера на кладбище.  
Оригинальные повести  
из рассказов могильщика**

© Л.И. Моргун. Редактирование, литобработка, примечания. 2018.

\* \* \*

# От автора

Как смело и гордо встречает человек юность свою, юность, цветущий, роскошный период жизни, позолоченный блестящими удовольствиями! Вот патент на право приобретения новых ощущений, радостей, не младенческих уже, часто и не невинных!.. Во младенчестве – слышится ропот, в юности – раздаются громкие, жаркие восклицания: дитя говорит будто ошупью, юноша из полной души выгружает свои чувства, из полных краёв её вырывается извив слов беглых, красно-речивых, свиток понятий развивается... юноша видит одну безбрежность – и поёт свои радости весне-жизни, как соловей. Он хочет разжиться, но время быстро перелистывает страницы жизни его – и смерть хладнокровно ставит на *последней* роковую точку свою...

*Многие люди, подобно Диогену, тщетно ищут человека и с огнём и с солнечным лучом, – человек ищет счастья и не находит его; смерть и не искав и впотьмах находит всех без разбора – и спускает в подземные потёмки – но узел жизни завязан... звено истления сцеплено с нею...*

**Примеч. Автора.**

*Одна душа служит нескольким властям, эти власти – страсти-исполины. Человек! ты – лёгкое пламя: вспыхнешь, блеснёшь и вмиг рассыпешься пеплом. Преходящ ты, человек, как благие думы,*

*внушаемые нам благочестием. Богатства твои –  
заём, который должен отдать ты – умирая...*

*Лебид, Арабский поэт*

# Часть первая

## Вечер первый Три смерти

Все твердят: на что нам злата –  
Слёзы льются сквозь него!  
Жизнь любовью богата:  
Для чего ж стяжать его?..

*Гур Филатич был прекрасный, добрейший и честнейшей души человек.* Не верите? Прочтите сами эпитафию на одном из Московских кладбищ. На четвероугольной черно-мраморной плите прибавлены еще с другой стороны следующие стихи в прозаическом вкусе:

Ах!  
Он теперь на небесах,  
А мы в слезах.  
Увы!  
Преклоните главы!..  
Гробе мой, гробе,  
Вечный мой дом  
В земной утробе!



Хотите ли, я опишу вам досконально, со всеми подробностями, этот интересный монумент бытия Гура Филатьича.

Время, а может быть и чьянибудь дерзкая рука или нога свихнула его со стоячего положения: он теперь всем туловищем своим надавливаешь курган могилы; с одной стороны его видна трещина и сквозь нее пробивается молоденькая травка: кругом плиты выются также поросли зеленых усов её; кое-где мелькают там так кстати голубоголовые незабудки, узорчатые гвоздики, пышные колокольчики на статных высоких стебельках, а где-то манят взоры и руки пунцовые и желтобокие, недозрелые ещё ягоды земляники.

И без рекомендации, начеканенной наёмною рукою на могильном камне, видно, что Гур Филатьич был добрый человек: тело его давно уже обратилось в чернозем, но и по смерти своей дает пищу живущему. Мир праху его!

Только для вас, читатели, я хочу шевельнуть именем его еще раз; так и быть, порасскажу вам житьё-бытьё теперешнего, постоянного жильца N-ского кладбища. Да! забыл прибавишь кто он такой был: приподняв несколько камень с помощью одного нового приятеля моего, могильщика Тихона Сысоевича, я прочел на скрытой части его следующее:

*Нод сим камнем покоится тело...* слова стерлись, —

должно быть они выедены временем и землею.

Далее:

*По душе он мне был друг первый...* Тоже недочёт нескольких слов.

Пониже:

*Второй гильдии купец...* От супруги – супругу.

\* \* \*

К сказке, к повести, как и к песне нужно делать всегда какое нибудь *предначинание*; к последней нужна прелюдия, звучный аккорд; к первым – присказка, предисловие. Вот оно:

Я люблю гулять по кладбищам: несмотря на разнородное времяпрепровождение в этих квартирах покойников, не смотря на *веселую печаль*, чинимую горожанами под фирмою поминок у могил друзей их и родственников, что называется «до упою», несмотря на раскинутые черепа, чего бы вы думали? бутылок! на рассоренные скорлупы яиц, орехов и тому подобных остатков съестного и питейного, – кладбище все-таки кладбище – не сокровищ, запорошенных временем, заколдованных веками, но трупов мирное хранилище.

В прелестные, розовые майские вечера, когда солнце, свивая золотистую хоругвь свою, тает на западе в ослепительных отсветах багрянца, я часто брожу с привычною думою по кочковатому палисаднику кладбища; деревья тогда так таин-

ственно откидывают гигантские тени свои, воздух упоется благоуханием от испарения цветов, как из кадил, – еще несколько времени – и полнощёкая луна магически начинает освещать окрестные предметы, проливая лучи свои на толпы надгробных камней... В эти минуты в природе столько гармонии, в душе – сочувствия!.. По тёмной синеве небесного купола рассыпается столько мириад бриллиантов – это группы миров; это звёзды – перлы, – это чистые слёзы праведников. В эти минуты дивишься более великолепному зданию мира сего и напрасно вызываешь к себе хотя бы одну созвучную душу из всего обширного океана творения.

С такими мечтами бродил я однажды по N-скому кладбищу и вдруг слух мой поразился звуком чистого голоса, как звоном колокольчика – то напевалась какая-то веселая, разгульная песня; любопытство моё возбудилось, голос накликал меня на песельника: я увидел молодого детину с широким заступом в руках, кончавшего работу свою. Поярковая с павлиньим пером шляпа его надета была набекрень на высоко стоящий могильный камень, которого подобила она грозному привидению.

Я подошел к трудящемуся.

– Бог в помощь тебе, добрый человек! – сказал я ему. –

Что ты делаешь?

Детина едва обернулся ко мне.

– Путь-дорога, барин! – отвечал он мне. – Ты видишь, что я делаю: пою – и копаю заказную могилу!

«Как согласовать между собою два противные чувства: петь веселую песню на кладбище и копать могилу?» – подумал я и выразил вслух мое удивление.

– Чему ж тут дивиться, барин?! – отвечал мне Тихон Сысоевич (так звали детину, как после узнал я). – За могилу я получу деньги; завтра при похоронах также сойдется мне кое-что, а гробовая крыша – по договору, исстари принадлежит могильщику, а она, знаешь, бывает по большей части розовая: ее снесу я вместо свадебного подарка моей Дуняше; она станет рядиться в неё по праздникам. Дай Бог здоровья покойникам, по их милости мы славно заживём!

Тут стал он описывать мне свое будущее супружеское блаженство – и в чем же состояло оно?! В том, что он с любушкой своей станешь вместе окладывать дёрном могилы... играть – и целоваться с нею... Он говорил, восхищался, а заступ его ботал о гробовые крышки...

Тихон Сысоевич был оригинал вполне: он понравился мне за откровенность и весёлость свою.

– Да о чем же и тосковать, барин? – говорил он. – Вот придёт старость брюзгливая: тогда еще надумаешься как надобно умирать. Кручинится тот, у кого совесть нечиста; правда, я не богат, живу мёртвыми, с них собираю оброк, да разве лучше нас жили, вот хоть бы этот купчина, награбивший себе золота на десять жизней? – говорил он, указывая рукавицею своею на замысловатую надпись, которою я уже поделился с вами, читатель – али вон энтот судейской – про-

должал он, – у которого и могила-то, сиротинка, заросла по-  
лынью?.. Или, что видишь издали-то меж деревьев скалится  
белый камень, как в саване?..

Я перервал Тихона Сысоевича, усадил его подле себя на  
могиле – и у просил порассказать мне кое-что об жильцах  
его.

Короче, хочу уведомить вас, читатели, почти каждый ве-  
чер ходил я к Тихону Сысоевичу и он в досужие часы за мел-  
кие серебряные монеты потешал меня многими дивными,  
чудными и разнообразными рассказами. Их передаю я вам.  
Садитесь и слушайте.

Вот первый вечер.

\* \* \*

Давно, еще вскоре после *Французского года*, как называ-  
ют простолюдины незабвенный 1812 год, в Таганке у Спа-  
са в Чигасах<sup>1</sup> стоял на широком дворе, похожем на пустырь,  
заросший крапивою, полукаменный и полудеревянный дом.  
Железные ставни и толстые болты, мотавшиеся у окон его,  
как руки скелетов; злая лохматая цепная собака, лаявшая  
на прохожих и проезжих из подворотни; запертая калитка  
с колокольчиком сверху; медная икона, врезанная на воро-  
тах; неизменная скамейка близ них, и наконец высокий за-

---

<sup>1</sup> Церковь Спаса Всемилостивого, что в Чигасах (постр. в 1483 г.) по адр.:  
Москва, 5-й Котельнический пер., 12. Разрушена в 1930 г.

бор со шпильями вокруг всего двора – в угрозу вора́м: – всё это выказывало принадлежность и жительство богатого Московского купчины. Таганка и Замоскворечье и теперь богаты богатыми.

Хозяин этого дома с дородною хозяйюшкою своею и парюю деточек, о которых я расскажу вам после, хотя незатейливо, зато во всяком довольства поживал и славился своим богатством по всему околотку, несмотря на то, что золото его скрывалось за семьюдесятью семью замками, как заколдованный богатырский конь. Народ как-то чуток к деньгам, и лишь только бывало Гур Филатьич со двора, тотчас и гнут пред ним встречные люди хребтовые позвонки свои и снимается пред ним не одна шапка с оторочкою. Гур Филатьич, сверх того, был в приходе своём старостою церковным, как почетный прихожанин, и густой голос его слышался со страхом и уважением в церкви при чтении Апостола, и на бирже во всяких спорных делах. Торговал же он монетами всякого достоинства, т. е. был менялюю. Времяпрепровождение Гура Филатьича было слишком однообразно: поутру, позавтракав посытнее и после уже напившись чаю, отправлялся он также на сытой лошади в город; там, поверив счеты своих приказчиков, с тѣзками, сватами и кумовьями хаживал он в ближний трактир почитать *Московские Ведомости*. Гур Филатьич был не последний дипломат: за чашкой чаю или за рюмкою водки судил и рядил он с товарищами своими о маневрах войск *Буонапарте*, и с видом таинственным предска́зы-

вал будущее могущество его, считая Наполеона колдуном. Громы Франции гремели в то время в Италии. Быстрые успехи французских войск занимали тогда собою не одни пламенные умы, но и хладнокровные, расчётливые рассудки купеческие. Многоустная молва об них надувалась как шар, наполненный газами, и лопалась тогда только, когда уставали языки их, или члены этого общественного Ареопага расходились по домам. Таким образом и Гур Филатьич, вычитав газеты по складам и по толкам, натолковавшись вдоволь об *Аполионе* Антихристе, о продаже сивки-бурки, об определяющемся иностранце в гувернёры, о побеге моськи, и пр. и пр., всё, что находил он в Ведомостях, в которых обыкновенно не пропускал ничего и читал вслух всему собранию разные статьи, возвращался в лавку свою. Там опять закусив чего-нибудь без претензий к Гастрономии, у ходячего Ресторатора, т. е. у саечника или колбасника, прохаживал на биржу, снимал свою пушистую, высокую бобровую шапку по зимам, а летом шляпу с большими полями, важно раскланивался с соседями, земляками, однокашниками и прочими людьми статьи торговой; менялся новостями, звал к себе на крестины и именины, или быв зван сам па подобные вечерники, уезжал домой – опять: есть, отдыхать – и считать выручку. По праздникам, после раннего обеда и доброй выпивки, хаживал он от жены на конюшню, гладил лошадей, не тяжелою рукой домового, но ласковою, хозяйскою, выбирал лучшего рысака из рысаков своих и велел запрячь его,

летом – в гремучую, трескучую тележку, с женою и кулебякой катил в *Марьину*, держа под мышкой куль с винами, а зимой на бега или к Федулычу или к Панкратычу перекинуться в карты: в ламуш, в тринку или в горку, и попить, дружно оглаживая широкою, лопатообразную бороду свою и полоская длинные осетринные усищи в пуше и Волошском вине... И Матрёна Андроньевна, сожительница его, не имела в характере своём особенных затей, и была, что называется у купцов – *без норова*. В отсутствие сожителя своего приглашала она к себе от обедни и всенощной приходскую попадью, первую приятельницу свою, а вместе с нею прихаживали разной породы торговки-салопницы<sup>2</sup> – и тут-то начиналось бабье раздолье, Вавилонская перемесь голосов. Упомянутые первые приятельницы вместе солили огурцы, покупали оптом икру, севрюжину, рубили капусту и заочно, и за сходную цену, под шипок самовара, кололи глаза неприятельницам своим, с которыми при свидании целовались ровно по три раза с каждой. Вот верный очерк характера супругов – он: спал, ел, считал деньги, редко – зубы супруги своей; она – спала, рядилась, домовничала, хлопотала и говорила запоем. Теперь пора упомянуть и об наследниках их.

Агаша, семнадцатилетний залог нежности Гура Филатыча и Матрены Андроньевцы, уже несколько лет примечала,

---

<sup>2</sup> В словаре 1847 г. слово «салопница» объясняется так: «(1) Делаящая салопы. 2) Обл. Женщина, ходящая в изношенном салопе и просящая милостыни» (сл. 1867–1868, 4, с. 182).

что зеркало было к ней ласково, ласковее даже, чем обычные, родительские приветы; в деньгах, которые дарили ей в именины близкие родственники на наряды, не находила она никакого вкуса, но зато самые наряды: напр. розовый платочек с узорчатыми каймами на русую головку; газовая, алая, Ярославская ленточка на стройный, хотя не тонкий стан; цветные, востроносенькие башмачки с каблучками на проказливые ножки, которыми так щегольски и ловко умела она пристукивать в случае, чтоб обратить на себя внимание шумной беседы; парчовая шубка на лисьем меху, или расшитая кофточка с букетовою уборкою лент; бусы – на беленькую шейку с самоцветным запоном посередине, всё это нравилось ей, – дитяте, всё это шло к ней, к её бело-розовому личику. И разрядясь, распушась, бывало, как пава, торжественно шла она с матушкою к обедне и заранивала там искры ртутных глазок своих не только в сердца молоденьких, гладкоголовых купчиков-козельчиков, но и в степенные маятники жизни пожилых вдовцов, богатых откупщиков: сальников, мыльников и прочих тому подобных густобородых рыцарей аршина и пудовика. Многие завидливо и ненасытно поглядывали на пригоженькую купеческую дочку, вместе и на богатую наследницу; к тому же они смотрели на нее только по праздникам, но угощали её и любезничали с нею в прямом смысле будничными нежностями, а именно: молодцы забегали пред нею вперёд при возвращении её из церкви и подкидывали ей под ноги какой-нибудь чувствительный

конфетный билетец, – напр.:

*Лучше св море утопиться,  
Чем в несклонную влюбиться!*

Или:

*С тобой и без людей я прожил бы на свете:  
Тебя одну имея лишь в предмете.*

И сердечки их стукались, как косточки на счётах при об-  
считывании покупателя, и кисточки на гладко вылакирован-  
ных сапогах их тряслись в поспешной ретираде. Вдовцы же,  
глядя на неё, только хмурились, как Бореи, щупали карманы  
свои и тёрли лбы.

Надобно заметить, что просвещение наше до 1812 года  
простиралось на весь купеческий род очень не широко: те  
из купчиков, которые доставали прочитывать Письмовник  
Курганова, или *Секрет быть здоровым и долговечным*,  
или *Верное средство истреблять клопов, тараканов* и  
проч., почитались между братиею своею за образованных;  
а те, которые в третий раз уже перечитывали: *Таинство чер-  
ной башни* и *Гробницу* соч. *Г-жи Радклиф*, имели уже мыс-  
ленный патент и претензию на учёнейших людей и отлича-  
лись от невежд тем, что не публично, а в уголке где-нибудь  
пили свой сбитень, или жевали мягкий сгибень<sup>3</sup>. Из тех же,

<sup>3</sup> Сгибень – пирог с фаршем, лепешка, загнутая надвое.

кто грамоту знал *вкривь* и *вкось*, или из тех, кто читал на скамейке у мучной лавки только Святцы да Псалтырь, были и гонители и читатели *ученых*, т. е. иные слушали многословные рассказы до того, что у них отпадала нижняя челюсть от верхней в восторге, а иные даже презирали их, называя подобных людей: *мотами, гуляками и фармазонами*, что натолковали им отцы их, незатейливые степняки<sup>4</sup>. Впрочем и в самом деле случалось, что молодые торговцы предавались влечению обольстительного рассказа книги или языка., получали новую пищу и развитие понятиям своим, забывали о лавках и о товарах, мечтая только о волшебном дворце с его хрустальными кроватями. И девицы, дочери купеческие, не по-нынешнему еще рядились и образовывались: в шляпки не убирались и куклы их; не танцмейстеры выкидывали пред ними *pas de Zephire*<sup>5</sup>, а дворовая челядь, о святках нарядившись в вывороченные тулупы, под балалайку толклась пред молодницами, как волки в тенетах, потешая их всякими телодвижениями, не цензурованными модным вкусом; редкая, редкая из них ездила в театр посмотришь *Филаткину свадьбу*, да *Мельника и колдуна* в одном лице; родители их не роптали, что дети просятя в *тиатир*: смотреть какого-то *Обер-дьявола*<sup>6</sup>, да нудят их платить учителям и магазинкам

---

<sup>4</sup> Степняк – а/; м. см. тж. степнячка, степнячок 1) Уроженец, житель степи, степных селений. Мои родители степняки.

<sup>5</sup> Воздушные па (*франц.*).

<sup>6</sup> Робершьдьявола.

несметные суммы. Самые приятные удовольствия ожидали их о святках: играть в *фанты*, загадывать и рядиться; о Масляной: кататься с гор на разбегчивых санках и падать живописно; о Святой: качаться на качелях под звуки волынки и скакать па досках. Вот самые старинные русские потехи, изменившиеся ныне вместе с костюмами и готическими прическами, пугавшими малых ребят и лошадей.

За дочкой Агашей следовала градация других дочек; но они все умирали в младенчестве, обкушавшись чего-то. Нежным родителям хотелось страстно иметь сынка надёжу-опору: Матрёна Андроньевна хаживала поклоняться всем Московским Святым и даже в Троицкую Лавру пешком; сверх того она гадала, ворожилась и принимала от цыган разные зелья и корешки; наконец – явился у нее новый поселенец мира, Иванушка-сынок, с малолетства еще большой затейник и баловень; им, кроме дальней родни, ограничивался круг семейства Гура Филатьича.

Теперь приступим к рассказу повести настоящим началом.

Ещё одна обмолвка: не укоряйте меня, почтенные читатели, что я так подробно описываю моих героев. Отец Тихона Сысоевича был дворником у Гура Филатьича, следовательно, рассказчик мой знал по пальцам все домашние таинства их и передал мне их подробно.

Не заметно было, чтоб Агаша из числа посетителей дома отца своего предпочитала кого-нибудь особенно; однако

ж внимание её останавливалось на приказчике Артемии, который был принят в доме Гура Филатьича еще с малолетства. У некоторых купцов существует обыкновение и доньне: отдавать детей *в люди*, т. е. натерпеться всякой нужды, а между тем навыкнуть торговым оборотам практически, чего бы не совсем понял сынок в дому родителей-баловников, да не всякие из родителей имели бы и способы к тому, чтоб научить сыновей своих всяким продажным *уловкам*. Так и Артемий, от небогатого отца своего, который был когда-то в товариществе по торгам с Гуrom Филатьичем, перешел в дом его по завету. Матери лишился он еще во младенчестве, за нею скоро отправился и отец его, как будто в условленное между нами место, оставя сыну в наследство одно имя своё без прилагательного. Артемий остался круглою сиротинкой. Гур Филатьич, хотя и помнил дружбу и хлеб-соль отца его, но зачем же было ему баловать ребенка?.. – он сперва служил у него *по особенным поручениям*, т. е. был на посылках *за должком*, водил лошадей на пойло, ездил с кухаркою на речку с бельём, ходил по церкви со сборною тарелкой, тушил там свечи по окончании службы, а иногда и подтягивал чистым, звонким дишкантиком своим басистому пономарю на левом клиросе. Гур Филатьич, надобно признаться, редко колачивал его, да и не за что было: послушный мальчик исправлял должность ловкого ординарца его и все поручения, сопряжённые с сею должностью, верно и отчетливо, не смотря па худое содержание: Фризовая чуйка зимою

и нанковый сюртук летом, были его постоянною одеждою, пищу же – серые щи, делил он вместе с кучером и дворником; в праздник давалось ему обыкновенно: конец пирога с кашею и несколько медных денег на орехи, которые, впрочем, не тратил он, а копил, покупал себе на них какие-нибудь вещицы: молитвенничек, гребёночку, осколочек зеркальца и проч. Наконец Артемий стал подрастать: его перевели в лавку закликать народ – и там не терял он своей расторопности: все были довольны им. Артемий имел мягкий и даже боязливый характер – он угождал всякому. Таким образом подрос и вырос он уже до двадцатилетнего возраста; целомудренная жизнь сохранила краску на белом лице молодого человека; черные глаза его имели выразительность нежного сердца; кудрявые, мягкие, глянцевитые волосы, не обстриженные в скобку, довершали красоту купеческого сына. Гур Филатьич, замечая ретивость его к своему делу и верность неподкупную, решился согнать всех воров-приказчиков своих и поручил Артемию в управление всю лавку, с порядочным жалованьем, не оставляя однако ж старой привычки: поверять каждое утро сумму свою и счётные книги.

Таким образом Артемий сделался приказчиком, обедал уже по праздникам за хозяйским столом, а в будни, разумеется, в городе.

Мудрено ли, что Агаша и Артемий свыкнулись друг с другом, играя с малолетства вместе по праздничным дням. Артемий, в качестве выючной лошади, важивал её по двору в

санках, а летом, бывало, с проворностью кошки влезал на любимую её яблоню за плодами. Агаша умела ценить его заслуги и, в доказательство благодарности своей, припрятывала ему гостинцы и отдавала их тайком. Когда же они оба стали подрастать, то чувства дружбы их стали изменяться: к ним привились другие отрасли. Артемий, выучившись четко писать, дарил её затейливыми стишками, хотя Агаша не совсем правильно умела разбирать их; но когда однажды, в день её рождения, Артемий подарил ей печатный песенник, она сумела прочесть и оценить помеченные им красными чернилами строчки, напр.:

*«С тобою и в пустыне  
Мне будет светлый рай...»*

или:

*«Я у девичьей кровати  
Рад век вековати!..»*

Одним словом, они полюбили друг друга. Артемий предался первоначальному нежному чувству своему, страстно, пламенно, – Агаша более любила его ребячески: сердце её стремилось к нему на резвых мотыльковых крылышках, но готово было спорхнуть с любимого предмета на всякую затейливую обновку, налюбоваться ею, бросить ее – и опять искать разнообразия; зато другие мужчины при Артемье не

имели для нее никакой цены. С каждым годом грудь её вздымала более и более покров свой: сердцу становилось в нем тесно.... и она уже день от дня внятнее начинала понимать выразительную грамоту красноречивых очей пламенного юноши. Любовь догадлива; Артемий примечал счастье своё, он спивал его взорами с зардевшихся ланит любой подруги своей при каждой встрече с нею. Мило потупленные глазки её досказывали, насыщали упоение его – и только. Ни одного слова, кроме обычных приветов, не срывалось с уст их. Поздно Артемий взгляделся в душу свою – и поздно ужаснулся. «Что я задумал?.. – говорил он сам с собою: – бедный, безродный, бесталаный бобыль?... Согласится-ли надменный отец её передать любимую дочку своему батраку?..» – и благородная амбиция его уязвлялась глубоко и юноша гордо потрясал кудрями. Но что ж и вправду оставалось ему начать без средств, без руководства, без всякой помощи к приобретению себе богатства, чем бы купить у судьбы блаженство?

О! как дорого достаётся оно: цена самой жизни полагается ни во что! Забыть Агашу, удалиться куда-нибудь в город, размыкать грусть-тоску свою?!.. Да разве это возможно?.. Образ её врезался в самое дно сердца его: он осязал в нём щекотливое глодание прекрасной змеи. Бедный юноша живо чувствовал жгучий, томительный огонь, пожирающий спокойствие его и – молчал, страдал – и таился. Гур Филатич сам неоднократно замечал ошибки в счетах, подаваемых ему Артемьем; он заставлял его задумчивым тогда, ко-

гда бы нужно было пускать в ход свою расторопность. Гур Филатьич дулся, пожимал плечами и выговаривал ему иногда за оплошность, и тогда несчастный почти со слезами на глазах, одним выразительным молчанием оправдывался. Гур Филатьич, потеряв слух и душу его обыкновенными советодательствами, а иногда даже попреками, хмурился и отходил прочь, не зная на что подумать и за что принять поведение приёмыша своего. Артемий все-таки был нужен ему: по одному трезвому поведению и бескорыстию его, он почитал Артемия дороже всех прежде бывших своих приказчиков. И Матрена Андроньевна, видя услужливость молодца и верное исполнение всех возложенных на него поручений, тайно от мужа, напр, купить что-нибудь подешевле, отделяла ему за обедом лакомый кусочек; даже шалун Иванушка имел к нему сильную привязанность: Артемий питал его прожорливость городскими гостинцами, покупал ему игрушки и сам вырезал ему из карт коньков и седоков, показывал на стене разные тени, клел кораблики из картона, и проч.; со всеми домашними был он вежлив и угодлив; старая дворная собака издали чуяла приближение его и звучно била хвостом о калитку, изъявляя радость свою и вытягивала шею, прихваченную цепью. Он не забывал и её.

«Любовь – кресс-салат, – выразился кто-то из литераторов наших: – она растёт скоро»; любовники видались каждый день, страсть их питалась, но не выходила наружу; а посудите сами, каково терпеть; терпеть и не находить отрады,

даже не выразить страдания своего ни одною жалобой, боясь, чтоб злые люди не подслушали ее, чтоб они не подстергли даже преступного биения сердца!..

\* \* \*

Наступили святки. Обширный двор Гура Филатъича загораживался возами с хлебом, дровами, свининой, солониной и другими жизненными потребностями. Зима стояла тогда холодная, трескучая. На всех Московских улицах кипела жизнь в полном блеске, разогретая движением. Из Питера шли обозы с сахаром и кофе; из Ярославля тянулись подводы с Волжской белорыбицей. К Серпуховской заставе подползали по морозцу южные продукты, тащимые усталыми животинами. А кто не знает, что за суета и суматоха происходит в то время у наших застав: сани, высоко нагруженные, будто башнями, скрипят и визжат полозьями как поросята; снег, скованный морозом, хрустит под лаптями мужичков, пляшущих на холоде *на* собственного сочинения; лошади, заиндевелые, точно выштукатуренные или набелённые, подобно купчихам, фыркают пренеучтиво; хозяева их со скомканными бородами, будто держащие в зубах нерасчёсанную банную мочалку, облепленную сосульками, как леденцом, шумящих у опущенного пред ними шлагбаума, ожидая пропуска; другие резвою иноходью бегут в ближний кабак, а иные в трактир, который таким улыбчивым и вместе коварным взо-

ром, т. е. раззолоченною вывескою, смотрит на них, призывая к себе молчанием, куда многие из них носят оброк свой, унося оттуда головоломное веселье. Казаки с нагайками в руках силятся уничтожить тесноту, а хожалые, потомки древних ярыжек, также озяблые и сгорбленные, как индийские петухи, *греются* в ней. Один только заставный писарь, Его Благородие, с красным воротником и носом, безучастливо и надменно, подобно египетскому паше, постаивает снаружи кордегардии и *потирает руки*. Он знает, что мимо него проползёт беззвучно один только червяк, что с него только взять нечего, потому что он голый.

Если не такая, то похожая на эту суматоха, была и у Гура Филатьича на дворе и в доме: крикливые бабы обтирали пыль с полок и стен, мыли полы, крыльцо с перилами и посуду, стирали белье, таскали кульки с закусками, расстанавливали по комнатам стулья. Матрёна Андроньевна, как неугомонная хозяйка, сама сеяла муку и верным глазом ревизовала кадки свои с мочеными яблоками, брусникою, огурцами и огурчиками. Агаша кроила и шила себе обновы. Гур Филатьич не суетился, подобно челядинцам своим, но был угрюм и неприступен: карман его худел, а кованые сундуки починать он не хотел. Артемий в городе наблюдал за его доходами.

– А что, батенька, Гур Филатьич, ведь нам, изволишь видеть, нада-ть, я чаю, хоть один раз во все святки задать пир у себя в доме; ведь сам знаешь, у нас дочь на возрасты по-

жалуй люди скажут, что она какаянибудь браковка, что мы утаиваем её ото всех! – говорила Матрёна Андроньевна мужу своему.

– Про это я и сам знаю, – отвечал Гур Филатьич, – пир не пир, а угощение заправское необходимо устроить, понимаешь? Если поднять пируху богатой рукой, то пожалуй накличешь таких женихов, что растормошат всё нажитое, понимаешь? –

– Всё не всё, батька, – возразила Матрёна Андроньевна: – а половинку, изволишь видеть, можно придать за Агашей: ведь она у нас одна! Иванушке ещё останется, да он и сам наживёт.

– Молчи, твоё дело бабье, неразумное, понимаешь! – вскрикнул Гур Филатьич, сдвинув грозно брови свои. – Я еще не считал у тебя зубов во рту, а ты перечла моё добро, что хочешь уж и делить его; мне и так от ваших затей приходится лезть в петлю, понимаешь!

– Эх, батька, Гур Филатьич, ну что Бога гневишь! – завопила было Матрёна Андроньевна; но Гур Филатьич так громко притопнул на неё ногою, что она тотчас убралась в свой апартамент – в кухню.

Однако не смотря на то, когда-то в добрый час расхмелья Гура Филатьича, условлено было морду нежными супругами устроить потешный вечер о святках и пригласить на него людей всякого чина, звания и ранга: молодцев и девиц петь подблюдные песни, а женихов играть в Фанты, чтоб, дескать,

Агаше не было долгого *сидения* в девках, и самим родителям можно бы было учинить выбор между многими. Затеяливая мысль!

\* \* \*

Признайтесь сами себе, рыцари и рыцарши виста, бостона и кадрили (я разумею здесь молодых людей, а не инвалидов забав), не принесла ли бы вам чистейшего, насладительного удовольствия игра в **Фанты**? Будто сердце не умеет так же сладостно биться и трепетать под мотивы унывных святочных песен, как и под звучные мелодии танцевальных променадов? В современных нам забавах мы видим одну теорию любви, одно несмелое подпрыгиванье друг к другу и поспешную ретираду, – всё это отпечаток какого-то непостоянства, хотя милого, красивого рисования групп, но всё-таки ветреного, скорозабываемого, мотылькового порханья; но в потехах старины настоящая практика любви. Ну, посудите сами, какой выгодный случай во время игры в **Фанты** вковаться в уста любимого предмета и спать с них медлительный, но гармонический поцелуй, даже в присутствии сердитых маменек, ревнивых мужей и ропщущих отцов? Таковы права Фантов!

Вот, например, хоронят золото и чисто серебро. Послушайте, какие напевы; вот содержание их: молодича в разлуке с милым; она смотрит на него из косящетога окошечка

и разливается как горлинка одинокая в кручине своей: «*Я у батюшки в терему, я у матушки в высоте*», – и голос её льётся прямо в сердце, и в руках своих вы ощущаете нежное прикосновение ручки её: с неё скатывается перстень, вы думаете, что схоронится у вас? – Нет, только одно пожатие; не вы счастливец, не другой, не третий, а тот, кто условился передать ей на обмен свернутую розовую бумажку. – Угадайте ж, у кого схоронено золото? Не завидуйте, не тот, на кого вы думаете, спрятал сокровище свое в лучшую сокровищницу жизни – в сердце – ему как и вам помазали только по губам; не угадали, но только заблудились вы в прогулке глазами по женским лабиринтам, давайте Фант и ступайте опять искать золото, только не находите медяницы – обманщицы.

Декорация переменяется: играющие особы свились венком, тут молодницы, – цветы, пышно раскинувшие уборы свои под тенью мужчин, стройных как тополи, тут и девы-бутоны, не смело развивающие почки красот своих, тут и розы наслаждений, и нелюбимый чертополох, отпугивающий взоры, все это вперемежку, разноцветный букет. Красавицы заунывно восклицают: *ох болит!* – болит сердце лилеи по чахлом репейнике или какая-нибудь ожога-крапива привилась к полыни, которая наоборот жалобится тою же болью; любовная эпидемия пуще похмелья кружит головы и щемит сердца, заветные имена цветов произносятся стыдливо, будто ненарочно; другие прелестницы в раздумье: кого бы выбрать лекарством для изцеления боли, но так осторож-

но, чтоб не высказать тайны своей; выкликается шиповник, да и вправду, ведь он иглист: как не занозить им сердца!

Вскоре после того вдруг заскачет любовная почта по ухабам всех больших дорог с разными транспортами; тут часто и столица сторонится какому-нибудь Звенигороду или Серпухову; тут прогоны самые дешёвые: с каждой версты по целую, а на эту монету невидимую, впрочем, часто слышимую и мило осязаемую, не установлена еще цена и проба: часто достается она ни по чем, расточается без, счета, отдается сдачи мелочью, но часто нельзя ее достать ни за какие жертвы. Увы!..

Когда все почты перескачат, а у играющих оборвутся перепутанные постромки терпения, раздастся хор подблюдных песен: *сей, мати, муцицу, или: как у Спаса в Чигасах за Яузою, живут мужики-то все богатые, гребут лопатой серебро; кому кольцо, тому добро – и слава!* – и ступай направо с своей суженой к налою в этот же и год непременно, и будешь ты богат и талантлив<sup>7</sup>.

Кому: *кузнец скуёт злат венец*, тот также готовь обручальный перстень, а невеста набивай сундуки приданым и расплетай косу шелковистую. Иным вправду выдается песня, как сон в руку, только со златым венцом сковывается им бич железный, или просто сплетается кнут ременный и скручиваются вожжи.

Проказницы из девушек тайком выбегают за ворота под-

---

<sup>7</sup> От слова «талан» – «счастье», т. е. «бцдешь счастлив». (Прим. ред.).

слушивать голоса, с какой стороны послышатся-раздадутся они, – оттуда будут к ним и женихи; но если случится, что в то время залает собака издали, это также идет к счёту: красавицы в восторге не разбирают человеческий ли это тенор, или собачий бас: он только слышат роковой голос – и восклицают: вот наши женихи! Ворчуньи-матушки, сидящие как трутни, как простые зрители в фанточных спектаклях, скучают продолжительною игрой, и поднимаются в нетерпении с мест своих; но как можно! Молодёжь хором заропщет: погодите, погодите, ещё *мост не мостили*, еще не разыгрывали *фантов*. И вот, по закону игры, вдруг выступает какойнибудь прелестный *нищий* в белом платье, ловко перетянутом газовой лентой; ну, как не подать ему милостыню? Многие почитают за милостыню себя, если только принимают с губ их подаяние. Иной проказник кладёт только один рубль – но всё копеечками, а если случится грошевик, то просит сдачи, а если хорошенький разносчик попотчевает его, положить хоть яблоками, он берёт один десяток по яблоку и каждое яблоко кажется ему за сахарный ананас. Особенно при разыгрывании *фантов* с медоточивых уст бывает сыпля, запой поцелуев; за то святки бывают однажды в год, как май улыбочивый, как юность в жизни. Вот каковы деспотические законы игры в *фанты*. Старые брюзги, ревнивые мужья при всех свидетелях видят, как женки их по вызову выходят к молодцам за дверь; чуткие уши их слышат отзывы поцелуев и они молча вздрагивают, как лошади при пушеч-

ном залпе, пыхтят, отдуваются, как будто сидя в жаркой ванне; спутницы жизни их идут, неся еще на щеках своих пламень и рдянец жарких уст. Да здравствуют фанты и в могиле своей! да воскреснут и обессмертятся они!

Такие же проделки были и у Гура Филатьича в раздольный *Васильев вечер*.

Между купцами, наехавшими к нему с женками, дочками, сыновьями и кумовьями, отмечивался некто Федул Панкратьевич, тучный винный откупщик и, разумеется уже богатый вдовец, пожилой и скупой, как сама судьба для несчастных. В этом же зверинце был еще из благородного ранга Анисим Михеевич, секретарь какой-то Палаты, старый, длинный и худощавый старик, воплощённая ябеда, чернильный обливанец с красным носом, будто бы обкапанным сургучом, в узком фраке с длинными фалдами, зато с широкими карманами; пышно расчёсанный парик его покрывал подъяческую голову, как зонтом; на замечательном носу его лепились страшные очки, и вся длинная фигура его при каждом движении, особенно при поклонах, съёживалась в какую-то мудрёную китайскую букву.

Эти гости приглашены были к Гуру Филатьичу с целью как ниже сего увидим. После разных закусок и попоек начались игрища; Анисим Михеевич присоединился к молодежи и в то время когда Федул Панкратьевич с Гуром Филатьичем вели речь о промышленностях, о ходе и упадке торговли, об ликерах и наливках, и многие из уважения к ним слушали

их с глубоким вниманием.

Между тем Анисим Михеевич проходил все степени фантошной игры и был в полном смысле жрецом её и мучил со смеху товарищей своих в забавах, что называется, до надрыва животов. Крючки острот его задевали многих.

К довершению удовольствия веселящейся беседы, ему досталось быть статуей и вот подмяли ходули его на цыпочки, сгорбили спину, подпёрли молодца одной его же рукой под бок, а другую подняли коромыслом, как будто готовя его пустить отхватывать голубца и начали все потешаться над Его Благородием, кто как хотел и умел. Анисим Михеевич умильно поглядывал на Агашу скользкими глазками своими, из угождения ей всячески любезничал и почитал ещё себе за особенную честь, что успел так распотешить невзыскательную публику. Даже девицы толклись около него хороводами. Артемий же был робок, как и всегда; с чувством произносил свое: *ох болит* по забывке, которой назвалась Агаша и, потупя взоры, передавал горящую курилку соседу, чтоб она не выказала на лице его отражением своим волнения души. «Смотри, пожалуй, какой скромница приказчик-то у Гура Филатьича, водой не замутить его», – говорили старушки, издали наблюдая игру между антрактами пересудов и мысленно проча за него откормленных дочек своих. Некоторые из них проникали застенчивость юноши, а так как только одна любовь близорука, находили они в Агаше множество недостатков: младенческая резвость её была называема бес-

стыдством, а пригожее личико и нарядное платьице – цирюльническою вывеской, Все это, разумеется, было передаваемо завистливыми матушками – и провесными дочками их – друг другу не вслух: Агаша от всех встречала приветливые улыбки.

Наконец досталось Артемию, по жребию вынутаго фанга, быть *оракулом*; его посадили в отдаленный угол комнаты и покрыли белым полотном. Робкий юноша смешался еще более, но к счастью замешательство его было завешано. Многим спрашивавшим его, прорицал он светлую и пасмурную будущность, не выслушав их, чтоб только скорее развязаться с ними; но каково ж было его изумление и досада, когда полотно зашевелилось и из-за занавеса его показалось вострое, клыкастое рыло Анисима Михеевича!. «Слушай, брат Артемоша, – шепнул он, крепко сжимая его руку: – я донельзя уязвлен прелестями Агафьи Гуровны – помоги мне снискать... понимаешь?.. магарыч за мной!..» – И вымолвив сие, Анисим Михеевич облил лицо своё зияющей улыбкой – пожал ему руку ещё раз и удалился. Артемий так был поражён его признанием, что не нашелся что и отвечать ему сидя истуканом на стуле.

Дошла очередь и до Агаши: тихо заколыхалось полотно и явилась она пред милым своим с обвивом роз стыдливости на щеках; по закону игры стала она пред ним на колени, и начали они молча, но откровенно, красноречиво, высказывать друг другу души свои. Наконец настало время признания:

Артемий не утерпел и поцеловал на груди её крест, мысленно клянясь ей в вечной любви; она поняла его, рука её стиснула его руку, щека прижалась к щеке – и слезы их слились.

Признательность была понята любовниками в безмолвии; звонкие голоса пробудили их.

Вечер по обыкновению был шумен: хаос забав всякого рода был заключением его. Любовники торжествовали втайне души своей; только испугал их значительный взор Федула Панкратьича, жадно брошенный на Агашу при прощании с нею – и шёпот родителей её с богатым откупщиком. Так кончился старый год.

\* \* \*

*Отставала лебедушка от стада лебединого,  
Приставам лебедушка ко стаду серых гусей.*

*Свадебная песня.*

*Гроб – та же колыбель для отдыха.  
На том свете много вакансий: туда попадают без протекций.*

*Мысли вслух.*

После блаженного вечера, в грудь Артемия заронила искорку свою надежда-невидимка с радужного крылышка. В

пылу счастья своего он забыл об Анисиме Михеевиче с претензиями его. Свободно вздохнул он. Между любовниками было уже несколько тайно условленных свиданий, во время которых Агаша со всем простосердечием своим клялась ему, что кроме него никто не составит её счастья; что она готова в этом признаться отцу, матери и вымолить у них родительское благословение на соединение с ним. Артемий весь был в восхищении: все чувства его, проникнутые нежностью, расплавились в слезы и он плакал так весело, так усладительно; червь – совесть – не глодал уже души его. Агаша сама упрашивала согласия его на общее счастье. Чем же он виноват? Разве он обольстил её какими-нибудь посулами? Он чисто-сердечно признался ей, что всё богатство его будешь состоять только в одном сокровище – в любви её. Она повторяла слова его под диктовку сердца, – почки цветов блаженства их наливались питательной росой надежды с каждым днём более и более. Сердца их бились одинаким размером, поцелуи сливались, клятвы сыпались – и смешили судьбу – коварную, таинственную.

С некоторого времени Гур Филатьич заключил с супругою своею какой-то наступательный и оборонительный союз против дочери своей, неразгаданный для неё; шёпот их, удивлявший её, происходил у них с глазу на глаз; случалось иногда, что во время тайного совещания, Гур Филатьич возносил свой голос, – и потом опять всё утихало. Члены расходились по своим местам, но протокол судьбы дочери их не

был еще ни чем подписан: ни слезами, ни кровью.

В одно время в полутёмном чулане, где Матрёна Андроньевна сама набивала пухом огромную двухспальную пери-ну, а Гур Филатьич сидел против неё на кованом сундуке, вдруг кто-то постучался к ним в замкнутую дверь костлявою рукою.

Супруги встрепенулись как заговорщики, однако спросили нарушителя уединения своего:

– Это я, батюшка Гур Филатьич и Матрёна Андроньевна, я, Авдеевна! – произнесло какое-то существо писклявым голосом.

– Что она пришла на гроб, что ли, собирать себе? – с неудовольствием произнёс Гур Филатьич.

– А, это Авдеевна! – радостно воскликнула Матрёна Андроньевна. – Впустим ее, батька, ведь я её усылала опрашивать и выведывать про наших женихов.

Немного погодя дверь отворилась и в отверстие её всунулась миниатюрная старушка с вострым подбородком, в китайчатой шубке и с костылем в руках; взошедши, помолилась она как водится в передний угол и чинно раскланялась с хозяевами.

– Ну, что новенького? Да сядь, сядь, ведь ты чай устала! – говорила Матрёна Андроньевна, подставляя ей небольшую треножную скамейку, а сама поместилась на опрокинутую кадку. Гур Филатьич не нарушал позиции сидепия своего на сундуке и серьёзного вида.

Старушка подкатилась к месту отдохновения, – обтёрла рукою рот, откашлялась, – (это была прелюдия) и начала:

...Ну, отцы, побегать-то я побегала, а пообедать-то не пообедала; уж знать за грехи мои досталось мне натерпеться и холоду и голоду. Помните, опомнясь вышла я уж под вечер с вашего двора и направила путь в Сущёво под Вески; дорога не близкая, погода крутила такая, что и рассказать нельзя. Ветер заметал дорогу снегом, словно как помелом, а встречных ему совсем с ног сбивал. Однако я дотащи́лась-таки кое-как до дому того приказного человека, у женишка-то вашего; уж и дом же у него: чуть ветер дунет посильнее, под мышкой своей занесёт его невесть куда. Вот как подошла я к нему – и давай стучаться в оконные ставни, приговаривая: кормилицы-батюшки, пустите, дескать, на ночку бедную, промокшую до костей старушку, а вам дескать пошлёт Господь на мою сиротскую долю. Верите ли, отцы, ведь насилиу впустили меня в ворота, насилиу дали для успокоения грешного тела половицу в сенях, а поужинать – хоть бы обгорелую корочку хлебца сунули. А я между тем все выведала да высмотрела: у Анисима Михеевича живёт какая-то, изво́лите видеть, рабочая женщина, да знать между ими есть грехи; она в то время стирала в корыте бельё и мыла ему голову всякими укорами: вишь ты, дескать какой окаянный старичишка кряхтун, думаешь, не знаю, што ли, я как третьёго днясь заслал ты сваху к Таганскому купцу сватать за себя, седого детину, дочь его, а вспомни-ка, греховодник, сколько

у нас, ну сам знаешь? Федотка, что охотою в солдаты пошёл, Андрюшка, что на чугунных заводах живёт, Акулька... нет, виновата, как бишь назвала она дочушку?.. ну да не в том дело, – говорила Авдеевна, – а вот в чём, что Анисим Михеевич, сидя в бумажном колпаке своем и починивая туфлю, не вымолвил ни слова в ответ ей, только что побряхтывал, да обматывал чёрной ниткой очки свои, а она-то уж его: какой ты батя детям, что отступился от них и гонишь со свету долой? Наконец как-то угомонилась гроза его и собрала ему ужинать; уж сам сатана ведаёт, прости Господи, что она наварила: не ботвинью, не щи, а только какое-то хлебальное из капустных кочерыжек; а когда попросил он кашу помаслить, так вот вишь из светца возьми сальный огарок, да и приправь им своё кушанье. Да в поставце под образами так нет у них недочёту: стоит полштофика зорной водочки и еще какая-то травянка цветистая. Вот ты и узнай тут людей. Как ономясь к вашей милости приехал, так того не хочу, другого не надо, а дома кашу помаслить нечем; ну да что и говорить, гол как общипанный сокол!

Тут Авдеевна перевела дух и пока супруги менялись между собою многозначительными взглядами, Авдеевна закатилась опять:

– Уж как я смекнула, что мне у тамошних хозяев выведать более нечего, и побрела со светом к Замоскворечью, к Федулу Панкратычу. Там, признаться сказать, немного я узнала: домина большой, каменный, глазом не окинешь, а в нем

будто ни души, ничто не шелохнется; я к воротам, а они на замке, я стучаться – а собаки и всполошились – и залились, подняли содом такой как на псарне. Я пригнулась – и вижу сквозь забор в щелочку, – там какие то взрослые ребята босиком, такие неуклюжие, дурнорожие, играют в снежки да подтравливают ещё псов-то на меня, знать, они сами псовые дети.

– Врешь ты, старуха, это дети Федула Панкратьича от первой и второй жены его! – с заметным неудовольствием прервал рассказчицу Гур Филатьич.

– Ну, статья может, батюшка, всё равно, только я там ничего не могла выведать у запертых ворот, а подумала только, должно быть, богат хозяин этого дома, что столько собак у него спущено на двор: знать есть что покараулить подвалы с золотом...

Глаза Гура Филатьича загорелись, как курительные свечки, жаром удовольствия при последних словах старушки.

– Ну, мать, что ты скажешь на всё это? – вымолвил Гур Филатьич, спустя немного времени.

– Я не знаю; как, ты отец? – отвечала Матрёна Андроньевна.

– Да что, – начал Гур Филатьич первый подавать свое мнение: – Подъячий твой мне не по сердцу и вблизи и издали; теперь он ещё больше пропах для меня сальным огарком: я вот так и гляжу, как он распахнёт свой рот, а из него и потянется светильня!

– Да ведь зато он – чиновный человек, не какойнибудь простой, а вот какой... – возразила Матрёна Андроньевна.

– «Чи-но-вный!..» – растянул Гур Филатьич это слово на несколько частей: «ведь его только чин-то и обороняет.

– А Федул-то твои Панкратъич разве не такой же обдирало? Уж чем, чем не берёт он с тех, кто займёт у него денег; да уж и взглянуть-то на него, так глаза намозолишь: туша тушей, сидень, невпроворот, да и душа-то потёмочная. Агаша наша такая приглядная – и что же, должна чахнуть за ним, как цвет пренежный за тенью пня без солнца... – Любви, прибавить бы должно, но доморощенная поэзия Матрёны Андроньевны ограничивалась сказанным.

– Да, зато он богат! – возразил Гур Филатьич.

– Богат, а приданого все запросит! – спорила с ним Матрёна Андроньевна.

– А подъячий твой уже просишь, уже он подал *прошение*, легко ли вымолвить: десять тысяч! Да за что? ведь дочь наша не залежалый товар! – Личико ли? – розовый венец! Речь ли? – что твой звук рассыпанных монет – да и вся – со штем-пелем красоты, который сама природа наложила на неё! – говорил с самодовольствием Гур Филатьич, поглаживая пушистую опушку подбородка своего.

– Правда, что твой Федул свои карманы надул; но что будут, когда он женится в третий раз, поедет в Гостиный ряд и всю ораву пострелят своих покнет на Агашину заботливость? Ну, какая она будет им мать? Она еще и не умеет быть

ею; она, моя крошечка, захочет чем-нибудь потешиться, а он ей наперекор: сиди-ка, голубушка, за четырьмя стенами, да гляди не через забор, а на грязный двор, как там полоскаются утята, а её никто не поласкает... Что ни говори, а чиновница – то ли дело: *Её Благородие*, да еще дворянка! Ее будут величать: *Матушка сударыня, милостивая государыня, ваша честь и почтение*, а она-то себе, хоть ухом не веде: все к ней с поклонной головой! Уж не платочек вскинет она на макушку, а целую шляпу с большими крыльями, как уездная... городничиха или исправнические дочери – вот это будет повиднее, позначительнее, а Федул Панкратьевич твой только что тяжёл.

– Да что тут перекопляться! – с сердцем воскликнул Гур Филатьич: – Что тяжелей, то и перевешивает: Федул Панкратьевич и грузом богат, стало быть весы на его стороне. Вот пождём, что еще будет от наших женихов, а мясоед<sup>8</sup> останется уже немного...

Тут домашний ареопаг разошелся.

\* \* \*

Не знаю, как для других, а мы с Тихоном Сысоевичем согласились, что нет лучше времени во всю зиму, как антракт

---

<sup>8</sup> Зимний мясоед: с Рождества Христова 25 декабря (7 января) до начала Масленицы (по мясопустную неделю – предпоследнее воскресенье перед Великим постом) – традиционная для Руси пора свадеб.

между святками и масляной. Осенью природа разнемогает-ся, стонет ветрами и заливается дождями, как слезами. Зима несколько успокаивает болезнь её оковами своими, как принятием опиума – она усыпляет её летаргическим сном, мертвит и заколачивает морозом в ледяной гроб. Но когда февральское солнце начнёт разыгрываться на весело освещённом небе, природа как бы начинает полуоткрывать всё ещё дремотные вежды свои, снег понемногу растопляется и ропщет в нагорных ручьях на незваную гостью-весну. Особенно в многолюдном городе, как например, в Москве, некоторые жители её засуетятся со своими мелкими промышленностями: Москва-река украшается балаганами, чреватее горами и оперяется зеленью ёлок вечно юных. Народ с удовольствием роится на набережной полакомить глаза на строение комедий; резные санки летают по бегу в запуски; ревнивые лошади фыркают; барыни ахают (я разумею здесь провинциальных) при виде возрастающего раскрашенного лубочного городка; дети радостным визгом изъясляют своё удовольствие, высовывая головы из желтых и голубых карет; пушистые московские купчины в просторных санях на сытых конях под белыми парусами прокатываются по взмевшемуся снегу со статуейными половинами своими, – всё как будто задышит новою, воскреснувшею жизнью, вспрыснутую блеском весеннего солнца. Вот краткое предисловие Московской, бешеной, ртутной, неумытой кокетки – масленицы.

Такова была предмасляная неделя и в 1810-м или 11-м году.

Артемий с подругой своей светлыми душами встречали блистательное преддверие весны.

– Милый друг, бесценная Агаша, – говорил он: – Не расцвет ли это нашего счастья? Блеск любви светлее золота!

– Ненаглядный, желанный мой! – отвечала она: – И сквозь золото, как сквозь решето, льются слезы; дорогие камни, – всё-таки камни, жёсткие, холодные... Не в хоромах, не в парчах таится счастье, но в любви и совете; не с богатством жить нам в свете, а с услугой; не металлы греют душу, а спокойствие, взаимность и радость.

Вот такая любовь или подобная ей философия питала любовников. Близка была развязка: Артемий решился высказать душу свою родителям Агаши – он надеялся на заслуги свои, оказанные им.

В одно время Артемий вошел к Гуру Филатьичу в контору его, сказать и услышать *роковое слово*. Гур Филатьич против обыкновения своего был очень весел, и лишь только Артемий затворил за собою дверь, хозяин его бросился обнимать своего приемыша, чего не было никогда, и что ободрило Артемия.

– Второй отец мой, батюшка! – с чувством произнес Артемий, – я пришел. просить вас...

– Знаю, знаю! – перервал его Гур Филатьич, – изволь, любезный дружище, я же теперь так обрадован! Не говорил ли

я всегда, или думал, это одно и то же, что моя Агаша бесприданница; ты стопишь того.

– Как, вы соглашаетесь составить мое счастье? – весь возторженный произнёс Артемий.

– Почему же не согласиться: ты давно уже служишь мне верно, честно и отчётливо – награда за мною – и ты скоро получишь ее, как свят Бог, – отвечал Гур Филатьич.

– Батюшка, родной мой! – всхлипывая от слез восклицал Артемий: – Так вы уже знаете о чем я хотел просить вас?

– Как не знать! – самоуверенно отвечал Гур Филатьич, – Видишь; что значит стариковская опытность. Ты задумал, а я уж и отгадал. Ведь ты просишь о прибавке жалованья, не правда ли? Что? А?

Артемий упал с неба своего:

– Вы не поняли меня, хозяин трепетно произнёс он.

– Ну, полно, не скромничай! – прервал его Гур Филатьич. – Я знаю, что твоя просьба не от корысти происходит, а от чего-нибудь другого Для нынешнего дня я на всё согласен; тебе можно сказать причину нашей радости, я знаю, что ты принимаешь участие в нашем прибыточном *убытке*, как добрый семьянин. Ныне Федул Панкратыч заслал к нам сваху сказать, что он без нитки приданого берёт нашу Агашу. Ну, посуди сам, как не радоваться; только надобно поскорей спешить со свадьбой, а то он уедет на Ростовскую ярмарку. Вот попируем то!

Артемий, поражённый обмер совсем. Гур Филатьич, заня-

тый своим делом, продолжал рассказывать ему дальние наживные проекты свои. Артемий слушал и не слышал его. Наконец имя Агаши встрепонуло его. В полурассудке бросился он из комнаты – и кажется будто догнал слух его и вковался в него обидный хохот хозяина.

Скоро после того раздались в дом Гура Филатьича протяжные свадебные песни, как на отпевании девства. Он настоял на своем: Матрёна Андроньевна, всплеснув руками и отдав всё на произвол Бога, решила: варить пиво, печь благословенный хлеб, пахтать масло и проч. – к свадьбе. Девушки-подруги шили приданое, низали бисер и стеклярус. А Агаша?.. Она, как водится, сначала плакала рекою, потом ручейком, потом уже слезы её крапали как дождевики при каком-нибудь живом воспоминании, но ей не всегда было время отдаваться влечению его: дорогие ткани и золотые парчи слепили глаза её, а самоцветные камни и разные сладкие гостинцы заставляли её даже улыбаться и радоваться... Где ж клятвы её? – скажите вы, не вписались ли они в книгу судеб огневыми чертами?.. Не будешь ли ты гореть в золоте, а не на тебе золото, бездушная девчонка?.. Да неужели удивляет вас, читатель, подобная изменчивость чувств у женщин? – удивлять может только одна редкость!

Хамелеон!..

Иногда и плакала Агаша в часы раздумья. Женское сердце – масса воску: какая форма натиснет на него изображение свое, то и отразится на нём.

Свадьбой спешили – потому что жених спешил на ярмарку.

Гости теснились по вечерам в доме Гура Филатьича; везде теснились для судьбы двух человек.

Не берусь описывать саму свадьбу со всеми проделками её. Поезжайте, любопытные, в Рогожскую или в Ямскую или куданибудь на-город, прикиньтесь колдуном или юродивым нищим: вас впустят купцы не только посмотреть, но и принять участие в обыкновениях своих, продолжающихся и до наших времён.

Время текло так же быстро и тогда, как и в наш 1837 год, и уносило много воды, слез, жизни и проч. и проч. безвозвратно для живущих, безучастливо – для отживших.

\* \* \*

Я не поэт, не светлый живописец природы, а просто рассказчик былей и небылиц, а потому прошу судить меня без придирок, за то, что я пропускаю мимо толкование о страдании Артемия: трудно выразить тоску бесслёзную, жгучую, удушающую. Скажу кратко: с тех пор как свершилось несчастье Артемия, дни, часы и минуты слились для него в пытку; почти в отсутствии рассудка, бегал он по городу, вдавался в пьянство, всячески стараясь рассеять печаль свою, но напрасно. Веселился он насильно, проматывая деньги, здоровье, следовательно и самую жизнь. Приятели были неприят-

ны для него – они твердили ему одно и то же: «Ну что делать, о чем кручиниться? ты еще молод, пригож, разве не найдешь себе другой невесты?»»

Аршсмий бегал от утешителей своих; мало-помалу утопляя грусть свою в вине, так привык он нему, что считал уже необходимым для себя быть всякий день пьяным. Во все время свадьбы Агашиной он не мог явиться домой, и что бы он там встретил? Гур Филатьич видел, что молодец заматывается и мысленно определил уволить его от себя. Артемий, очнувшись однажды, с ужасом заметил, что он, сверх всего своего жалованья, потратил хозяйских денег около пятисот рублей. Это усугубило его мучение: честь его не была еще запятнана воровством. Положение его час от часу становилось хуже. В одно утро, предавшись чёрным мыслям своим, сидя уединенно в общественном месте, в каком-то трактире, и залив грусть свою не одним уже стаканом хмельного настоя, вздумал он наложить на себя руки. Сильно встрепенылись и зарыскало в груди его вещее сердце при этой мысли: слезы невольно выступили наружу. Давно ли он, цветущий красотой и молодостью, был так беззаботно покоен, даже весел, как сама радость, а что более всего – честен в полном смысле этого слова? А теперь... Хозяину его некогда было считаться с ним; но он заметил уже из подозрительных его взоров, что Гур Филатьич не добрых мыслей о своём приказчике: – награда за утрату денег, которые были для Гура Филатьича дороже всего на свете, ожидала его в остроге вме-

сте с ворами, мошенниками, душегубами... Га!.. эта мысль привела его в содрогание: холодный пот проступил по лицу его, но сердце горело всеми огнями ада. А где Агаша? Прощай жизнь, коварная жизнь!.. обольстила ты юношу кокетным блаженством своим – так потухни же сама! Какие удары ни разбивались о грудь его, он терпел, но последний удар, согласитесь сами, сокрушил бы и самое гранитное терпение. Так думал Артемий – и в глотании отчаяния закрыл руками лицо своё, – вдруг все чувства его оковало какое-то предсмертное самозабвение и каково же было удивление его, когда чья-то рука расшевелила внимание его, трясая за полу платья.

– Слушай-ка, приятель, о чем так крепко призадумался ты? – говорила стоявшая пред ним высокая, худощавая фигура во фризовой шинели, с красным, лаковым лицом, рыжими усами и подбитым глазом, давно уже обмеривая его издали пристальным вниманием. – Ведь от пролития слез не вырастет ничего: лучше признайся-ка в чем дело! – продолжала отвратительная фигура, понизив голос: – Бежал что ль ты откуда – укроем! Труп что ли не сможешь вытащить один из-под половицы – поможем! Денег что ли надобно – пособи́м!

– Кому дело до меня? – сурово отвечал Артемий, на которого это явление произвело самое невыгодное впечатление; он отвернулся.

Незнакомая фигура язвительно улыбнулась и спокойно

уселась подле него.

– Напрасно отталкиваешь участие, приятель! – заговорила она опять: – Может, настанет такое время, что принял бы пособие, да поздно, а я не раз уже помогал подобным молодцам.

– А чем ты можешь пособить мне? Помощь твоя бессильна: лучше наложи заплаты на свои оборванные локти! – коротко отвечал Артемий.

Фигура улыбнулась еще язвительнее, так что уста её расплылись почти до ушей, а глаза блеснули диким огнем. Она распахнула шинель свою – и Артемий с изумлением увидел под нею изысканно щегольской бархатный кафтан, застёгнутый вызолоченными пуговицами.

– Точно ли можешь ты дать мне денег? – спешно спросил Артемий.

– А ты мне чем заплатишь за них? – хладнокровно в свою очередь спросила его таинственная фигура.

– Душою – если ты демон – и всю кровью – если человек, – твердо произнёс Артемий.

– Побереги и то и другое для себя, – возразил незнакомец. – А вот какое условие: отдай мни свободу свою.

– Я тебя не понимаю! – отвечал Артемий.

– Пожалуй, я растолкую, – сказал незнакомец. – Дело вот в чём: я набираю охотников – в солдаты... продайся, и получишь деньги.

– А сколько дашь ты мне их? – быстро воскликнул Арте-

мий.

– Рублей пятьсот!..

– Я твой!

– Вот и ладно! Так по рукам же, задаток готов. Эй, мальшй! вина, а ты пиши условие, – говорил незнакомец, распоясываясь и звуча деньгами. Пригожий полнощёкий мальчик, служитель трактирный, в белом фартуке, в шелковой рубашке, опоясанной золотой тесьмою, явился с закупоренною бутылкою и со строем рюмок; ловко раскачнул он подносом, поставил его перед гостями – и пошла пируха навеселе. Условие было заключено. Судьба Артемия свершилась: он продался охотником в солдаты.

\* \* \*

Кто видал как гуляют *охотники*, запродавшиеся в солдаты? Кто не имел этого случая, тому советую по первому же снежному пути побродить по большим московским улицам: там, верно, встретит он несколько извозчичьих саней, разбегчиво подкатывающихся с седоками своими к пристаням забвения – т. е. к трактирам, заманивающим к себе издали живописными вывесками с замысловатыми надписями: *Керезберг, Варшава, Браилов*, и все это не в дальнем расстоянии одного от другого. Кто из домоседов не бывал в этих городах, тому покажется любопытно за небольшие, извозчичьи прогоны, изъездить в Москве почти всю Европу; к то-

му же ведь это не сухая какая-нибудь панорама, и не картина, намалеванная на холстине, но существенность, одушевленная людьми и людьми ласковыми, принимающими всякого приветливо, учтиво, потчивающими радушно и говорящими с вами по-русски, не смотря на то, что они живут *во Франции, в Польше* и т. д. Там увидите вы также не холодных улиток-англичан, с обточенными, гладко выскобленными подбородками, но хозяев в полном смысле, бородатых и родных потомков славян, настоящих ваших соотчичей. Кроме наружной вывески, там ничего не найдете вы иностранного: там также пахнет русскими щами и звучит полновесными поговорками. Вот там-то пируют *охотники* с отдатчиками своими: там-то скромность бывает на привязи, а похмелье на спуску. Тот, кто выторговывает себе свободу от солдатчины на чужой счет, не жалеет ничего, чтоб угостить досыта, даже до пересыта, избавителя своего, а этому некогда и одуматься бывает: ему не дают времени проспаться, а заливают и закармливают его, как пулярду на убой.

Опять повторяю, советовал бы всякому русскому посмотреть хоть раз в жизни на *катанья охотников*: это национальная черта; жаль, что не выберется никто в роде Теньера изобразить эту картину смелою, вольною кистью; наша история потеснилась бы дать место этой выскочке.

Вглядитесь как охотник сидит отважно в санях: на его лице праздник, – будни впереди, он спит себе и качается, и свистит, и оправляется – то сядет гоголем, оправит рукави-

цу, важно подбоchenится; то опять раскинется небрежно, как вельможа в креслах, и кричит: «прочь с дороги, мужик, экой неуч, сипач!» – Он уже становится стройным, бравым солдатом и гордится. – Сопутник его стережет весельчака, как колодника, глаз не спускает с него, руки не отводит от его кушака, как будто из дружбы – а простак целует своего *Иуду*.

Извозчик их – что и говорить: шапка с заломом, руки натянуты как вожжи – бегун расстилается по снежному ковру, санки летят и кувыркаются по ухабам... поди, поди! – полозя визгнут и подкатятся к подъезду трактира. Там-то и начинается хаос веселья – разгульные песни под гусли-самогуды, плясуны и тамбуристы – диво! Вот краткая обрисовка охотничьих катаний, которые продолжаются до тех пор, пока санки последние подвезут их к Казенной Палате – и тамошний сторож закричит: *лоб!* На лбу охотника выступит холодный пот – похмелье спадет, как оковы с тела – и душа проснётся для новых видений. Но всему привычка вторая натура.

Такому-то *насильному* удовольствию предавался и Артемий вполне. В воображении его засветились до того неведомые ему желанья – он пил, бушевал, раскатывался с гиком и смехом по всей Москве и, исступлённый, полудикий, вскрикивал: «Эх, везде солнце светит, любо жить на свете!», но слёзы невольно крапали на грудь его – и сердце судорожно сжималось под гнётом скрытой тоски своей. Так однажды катался он по просторному Замоскворечью с обольстителем

своим до поздней ночи, и докатались они до того, что все трактиры заперли уже и не впускали их никуда. Артемий печальный, изнеможенный, задремал уже; вдруг сопутник его вскричал:

– Извозчик, стой, поворачивай правей, ишь какие огни светят вон у этого большого дома! Подъезжай туда скорей, это должно быть трактир!

Артемий встрепенулся, сани подкатились под освещенные окна – он вглядывается – и что ж бы вы думали? Четыре местные церковные свечи в высоких посеребренных подсвечниках, обвитые чёрным крепом, стояли симметрично около розового, богато украшенного серебряными бляхами гроба, а в нём лежала... Он узнал ее, несмотря на мертвенную бледность лица и уст, некогда дышавших весеннею теплотою жизни – она как будто только рассталась с жизнью: какая то неземная полуулыбка сияла на лице её, руки прижимались к груди... и покоились на застывшем уже сердце. Артемий в горячке чувств забился в окно...

Сопутник схватил было его за плеча жилистыми руками, своими; но он с невероятною силою вырвался из его рук и пустился к Каменному мосту... Куда делся – Бог весть!

Даже Квартальный Надзиратель тамошнего квартала не мог дать отчета начальству своему о пропавшем молодце.

Что сделалось с Агашей? Старухи Замоскворечного околотка – тайком говорили друг другу, что муж её был лакомый кровопийца и уже из трёх жен высосал жизнь... это

составляло его свирепое удовольствие. Догадывайтесь сами, что было причиною смерти её.

И Тихон Сысоевич сказал мне о ней неудовлетворительно.

\* \* \*

*Одно несчастье влечет другое.*

Пословица, писанная опытом в свиток жизни.

– Ну, старуха, полно тосковать! – говорил Гур Филатьич, перебирая пуки ассигнаций, жене своей; повязанной траурным платком. – Посмотри-ка сколько выручки получал я сегодня только за один месяц! Утешься: мы положим их к старому приобретению. Слава тебе, Господи, ныне же отслужу молебен своему патрону!

– А завтра панихиду в память покойницы: завтра девять дней Агаше... Ох, мои родные, тошно жить па свете... сгубла ты, моя крошечка, мой голубчик беленький, – говорила плачущая Матрёна Андроньевна, всплеснув руками.

– Смотри-ка, жена, – перервал ее Гур Филатьич, продолжая заниматься своим делом и вытаскивая красную бумажку из целого пучка: – ведь это фальшивая... я узнал её по осязанию, да я её сбуду с рук...

– И полно, Гур Филатьич! Как ты Бога не боишься, что хочешь обманывать людей из-за таких пустяков; послушай меня хоть однажды: брось её.

– Ну, пожалуй, ин быть так! – нехотя произнес Гур Филатьич, свёртывая ассигнацию трубкой.

Близ него топилась печь: он лениво швырнул в неё бумажку.

Быстро охватило её пламя, втянуло в жерло печки – и только что замелькали розовые искорки на пепле.

– Хозяин! Федул Панкратыч прислал к вам что-то! – слышался голос из-за двери.

– А, слава Богу, знать он прислал Агашино приданое! – радостно произнес Гур Филатьич, поспешно сунул деньги свои под шапку и вышел из комнаты, сопровождаемый старушкой своей; а Иванушка, малолетний сынок их, высматривавший сквозь щелку двери на занятия отца своего, вошел вместо него в комнату.

Немного погодя возвратился Гур Филатьич. Иванушка встретил его:

– Посмотри-ка, тятя, как славно горят все разноцветные бумажки твои! – сказал он: – А то что за важность одна, вишь, как переливается на них огонь! – и дитя захлопал от радости в ладоши, что умел составить себе такую забавную игрушку, подражая отцу.

Гур Филатьич взглянул – и обомлел; весь пучок ассигнаций его обратился уже в пепел – кое-где только проскакивали искорки.

– Ах ты, собачий сын! – заревел он скрежеща зубами, и хлопнул его по виску медным набалдашником палки своей.

Мальчик покатился мертвый.

Донесли, что преступник был одержим белой горячкой, и вскоре после того, не знаю уж хорошенько, от угрызений ли совести, или от лекарских микстур, Гур Филатьич умер на подушке, набитой пучками ассигнаций.

С участием взглянул я на могильный камень, налегавший на прах Гура Филатьича, тяжело вздохнул – и, обуреваемый черными мыслями, с грустью побрел домой...

# Вечер второй

## 99 волос, или Лаковый череп

Как чудна, смешна и разнообразна жизнь людей! – это призма всех цветов, переливно меняющихся. У одних часто вспрыскивается она слезами, у других фиалом забвения – вином; одних неласковая судьба водит за нос, да еще прищёлкивает по нему, гладит их по гладкой макушке шерстяною рукавицей и поставя их на хрупкие ходули, заставляет плясать насильно до слёз; других она нянчит на мягких ладошках, своих, приголубливает не по-мачихиному, закатывает в пух удовольствий, холит в благоуханной купели наслаждений и оттуда вдруг прямо бухнет в грязную лужу невзгоды. Посмотрите – иной юноша ходит козерогом, а старик на дыбках. И здешний свет не разгадочен; что ж будет там?

Нашего полку убыло, убыло,  
Ахти, тоски прибыло, прибыло!..

*Плач инвалидов на могиле любимого товарища.*

За ненастьем – ведро;  
за тоскою – радость!

*Старинное замечание.*

Не знаю, как вас, читатели, а меня Тихон Сысоичь при-

охотил слушать некрологию жильцов своих. На другой вечер, когда сумеречная темнота, расширив крылья свои, начала отенять московские улицы с тьмочисленными переулками её и беспощадно сметала с земли солнечные блёстки, как веником, я уже сидел...ском кладбище рядом с рассказчиком своим и по-дружески вёл с ним следующий разговор:

– Ну, почтенный товарищ, – начал я: – повесть твоя настлала на душу мою тень, чернее теперешних: я и во сне видел Гура Филатьича, который будто бы вытаскивал из-под меня подушку, жалуясь на жесткость гробовой, а, может быть, думая, что в ней защиты ассигнации его. Теперь расскажи-ка мне что-нибудь повеселее...

– Изволь, барин! – отвечал словоохотливый собеседник мой, обчищал заступ свой от сырой земли: – У меня есть и веселый покойник. Всмотрись-ка: вон левой от черного-то креста квартира его под лысой вывеской!

Любопытство сдвинуло меня с места: я подошел поближе к показанной Могиле и увидел на простом, выкрашенном кресте незатейливо изображенную *лысую вывеску*: так иронически называл Тихон Сысоич Адамову голову.<sup>9</sup>

– Вот, барин, этот кудрявый череп (Тихон Сысоич был остряк) страх как похож на весёлого покойника, о котором я хочу рассказать: и глазки, словно опустелые гнезда, и клыки зубов, только нос у того был *большого роста*...

Эпитафии не заметил я никакой на ветхом памятнике;

---

<sup>9</sup> Т.е. череп.

крест с качнуло ветром несколько в сторону и стоял он, точно подбоченясь или шатаясь от похмелья, как будто из покойника выходили еще какие-то испарения и сообщали их дереву. Только заметил я на кресте начерченные какие-то символические слова, вероятно перочинным ножичком: две палки, подпоясанные поперёк, точно буква Н; но вышло дело, что это была буква А; еще Египетская пирамида на скамейке – стало быть это старинное Д, и в заключение К с таким большим крючковатым носом, что я подумал: уж не готовится ли начальная буква фамилии героя грядущей повести, вытянуться ко мне в табакерку за приёмом одного заряда табаку – а это также был символ одной из страстей покойника; к довершению всего я заметил, что он похоронен точно в насмешку, под осиной, и на его могиле, расположенной в сыром и топком месте, вместо розы вырос огромный мухомор.

Когда я вдоволь насмотрелся на могилу со всеми её и принадлежностями, Тихон Сысоич опять завел речь:

– Этого знаю я лучше всех здешних постояльцев: он нанимал *уголок* у отца моего, который производил тогда обручное мастерство, и мне, еще мальчишке в зимний вечер рассказывал бывало мудреные похождения свои.

Читатель, слышанное пополам!

Отставной магистратский чиновник Алексей Дорофеевич Калдуев, коллежский секретарь и разных жён и вдов услужливый кавалер, родился в 17.. году на *Бутырках*, как и мно-

гие великие люди происходят оттуда. Думаю, что не только иногородние, но большая часть и московских жителей не знают в подробности столицу баранок. Бутырки! разбирать ли исторически это село, озаменованное рождением Алексия Дорофеевича? не хочу верить, что оно получило название свое от Бутырского полка: лучше согласимся, что бич древней России, Батый, приплыл туда на Венецианской гондоле от Волги через Оку и Москву-реку, тайком влюбясь в какую-нибудь россиянку, диву снегов, и в честь её давал бал на расчищенной поляне, угощал красавиц маханиною, мясом любимого коня своего – от того это место и прозвалось Батырками; но капризная молва преобразила букву *a* в *y*, и вышли Бутырки, к вашим *услугам*: а можешь быть, в это место ссылали Московских чухонцев, где они делали свое Butter<sup>10</sup>; как бы то ни было, но вот вам готовый источник для исторического романа, недавно откопанный догадками. А что всего вернее, то это название, положим, может происходить и от Бутырей, или понятнее: от будочников-инвалидов, которые сперва нанимались караулить горох и репище, потом, выйдя в чистую отставку, избрали это место отчизною своею, поселялись там, заводились домком, пропитывались, положим, хоть деланием мышеловок, и таким образом породили великое число служителей типографии: наборщиков, подъёмщиков, тередорщиков<sup>11</sup>, словолитцев и

---

<sup>10</sup> Буттер – масло (*нем.*).

<sup>11</sup> Тередорщик (от итал. tiratore – печатник), один из рабочих, обслуживавших

проч.

И в самом деле, эта сторона теснится почти только для особенного этого племени, для ранга людей, отличного от других во всем смысле этого слова. Теперь промышленность мышеловками обратилась в баранки, и если кому угодно посмотреть на Бутырки во всей их характеристике, то милости просим пожаловать туда восьмого сентября в праздник Рождества Богородицы, и там увидите вы всё: и азиатскую роскошь, и немецкую аккуратность, промокнутую пивом. Там бывают в это время: Московское гульбище, иногородняя ярмарка, откликающаяся гудками и дребезжаньем барабанов. Там красуются трактиры для приказных, гостиницы для извозчиков; там бывают раскинутые на скорую руку лубочные балаганы, завешанные вуалями рогож, а в них найдете вы и благовонную помаду из сальных огарков с наклейками портретов Зонтаг для Бутырских красавиц, и душистый дёготь для ямщиков; там и выставки женских красот, и собачья комедия; там всякая всячина, начиная от потомков Алексея Дорофеевича, до палатки с верблюдом. Почетное лицо на этом гулянье есть – Квартальный Надзиратель со свитою своею.

Итак, Алексей Дорофеевич был (упокой Господи его ду-

---

ручной печатный станок. Т. накладывал бумажный лист на тимпан (рама с натянутым на неё листом кожи), прикрывал его рашкетом (лист пергамента, в котором вырезаны отверстия по размеру полос), опускал тимпан на ковчег (подвешенная каретка) с печатной формой, перемещал ковчег под пиан (нажимная плита) и, дёргая куку (рычаг), прижимал лист к форме.

шу) сыном, не то что бы какого-нибудь тередорщика, но словолитца, следовательно происходил по прямой линии от бутыря, т. е. старшего земского ярыжки. В то время Бутырки хотя были и попроще нынешних, однако тщеславились тем, что незадолго до рождения моего героя проезжала через них Великая Екатерина по пути к Троице, гостившая летом в Петровском дворце. Алексей Дорофеевич родился в феврале месяце в день Кассияна, и в тот високосный год, по замечанию старожилов, развелось на пажитях множество саранчи и летучих мышей.

Так как родитель Алексея Дорофеевича был человек небогатый, то появление на свет сына его не было встречено оркестром музыки и заздравными кликами; одни только мыши за сундуком, с визгом разделяя между собою какую-то добычу, хором пропищали ему привет свой, а на крестинах его вместо бала, была простая медвежья пляска перепившихся типографских витязей, державших за кушаки друг друга и рисовавших тяжелыми ногами своими произвольная *па*; к довершению крестинного пира, сказывают, завязалась драка между каким-то капралом и церковным псаломщиком, из которых последний принес в жертву этого спектакли свой пучок волос (недобрый знак для новорожденного, как увидим ниже) и пошел на свою колокольню с *чистой* головой. Других, также расхрабренных гостей, развели уже пожарной водоливной трубой – и выпроводили чуть не толчками со двора. Таким образом разошлись все

гости, хотя биты, зато сыты.

На зубок новорожденному остались – выбитые зубы.

Виновник бытия Алексея Дорофеевича, как чадолюбивый отец, не редко обмывал своего наследника простым вином, будто бы для окрепlosti тела, и после, сказывают, между лакомыми гостинцами часто наливал он вино в рожок дитяти, приучая его и к сладкому и к горькому. Лёничка не морщился – а еще с досады визжал, бывало, как поросёнок, когда долго не давали ему любимой влаги. Таким образом рос дитя не по дням, а по часам и минутам и становился рослым детиной.

Первое знакомство мирского новопоселенца с здешним светом было ясно, тихо, спокойно, кроме двух случаев: однажды мать его в домашних хлопотах забыла птенца своего спеленутого в сенях, и его чуть-чуть не всего расклевали куры, уговариваясь уже между собою в спорном клохтанье: кому взять какую часть младенческого тела; но звонкий голос дитяти спас его от этого дележа, а кур от тошноты и пресыщения, хотя не спаслось имя его от обидной прибавки к нему: *куриные объедки*. В другой раз старая няня его, совершая тризну в родительскую субботу, за неимением денег снесла мальчишку в питейный дом, а когда хозяин его стал требовать у ней расплаты, она заложила его в обеспечение долга своего за несколько грошей, которые обещала скоро принести для выкупа ребенка, и вот до сих пор приносит. Каким образом и скоро ли выкупил Лёничку отец его, никто

того не знает, но толковали только, что малютка не тосковал на новоселье своем, а еще хозяйничал у хозяина своего, и что когда сердитый словолитец азартно кричал на кухарку, как осмелилась она без спроса заложить сына его, она будто храбро отвечала, что она сама имеет на него права не менее отцовских; уж в каком это отношении значило, право не знаю.

Образование Алексея Дорофеевича началось с семилетнего возраста: лишь только минуло золотое, потешное младенчество его и наступило отрочество, Лёничку стали звать Алексеем, а иногда и Алёшкой, когда он, бывало, служив по особенным поручениям у отца своего, бегивал по приказу его за *живой водой*, не доносил ее до дому и вспрыскивался ею *до мертва*; в таком случае к побранкам присоединялись ему часто и палочные увещания. Алексей, быв еще Лёничкой, отличался уже между товарищами своими в разных хитрых прожектах: он умел затейливо из древесной коры вытачивать маленькие лодочки и пускать их в канаву, полную воды, в которую не отказывался он впоследствии времени спихивать и гостей отца своего, шедших в сумерки с гулливого пира; то о *святой*, бывало, присаживался он на большой дороге у мостика, прикидывался безногим, юродивым и покачиваясь на обе стороны, распевал протяжным и пружалостным голосом песнь об убогом Лазаре; мимошедшие, иные, кидали ему в полу грошевики, а мимоехавшие стегали кнутом, и тогда он забывал роль свою, вскакивал как заяц, и

бежал прочь. Случалось ещё, что он, но особенной протекции детенят тамошнего пономаря, имел случай влезать на колокольню и приводить в движение все Бутырки, ударивши в набат; пономарятам доставалось за то порядком, да и на Лёничкиной скорченной спине обновляли не один веник.

С семилетнего возраста Алексея приняли, что называется, в ежовые рукавицы: то был какой-то Волоколамский мещанин, *зело лихой* на книжное разумение. Он с незапамятных времён поселился на Бутырках, промышляя себе насущность детской указкой. Отцы за детей своих платили ему кто чем мог: кто связкой баранок, кто кринкою молока, кто десятком яиц, кто самой насадкой. Дядя Перфил, так звали этого Энциклопедического самоучителя, был почитаем всею деревней за самого *мудрёного* человека, т. е. учёного. — Голосу его уступали и в мирской сходке: он предписывал Бут — м жителям, как Ликург Спартанской Республике, самые строгие законы; он судил и рядил, сколько праздников в кругу должно быть в году, когда наступает разрешение вина и еля; в какие числа, чётные или нечётные, сбывается виденный сон; он доказывал еще, почему Аксинья не есть человек, а только баба; он мирил кошек с собаками, мужей с женами, горох с бобами; вставлял зубы лошадям и приготавливал румяна девицам из кирпичных вытерков; бывал дружкой у козлов и сватом у не выговоришь всего: уж я сказал, что дядя Перфил был Энциклопедист. Только не добрался он: отчего женщина бывает *оборотнем*, много говорит даже во

сне и ходит пятками назад, когда везде хочется быть впереди всех: только эти думы озадачивали смышлёного человека и он при всем уме-разуме своём отступился от познания женщин. Дядю Перфила не любил только сельский дьячок, за то, что он отбил от его часослова пансионеров, да малые ребята, которых пугали его ушастой шапкой и усастой бородавкой, прилипшей к правой щеке его, точно паук-кровопийца.

К нему-то, в число *вольноприходящих*, поступил и бывший Лёничка – нынешний Алексей Дорофеевич.

Общий учитель был строг: бывало когда он нахлобучит шерстяной колпак свой на глаза и хлопнет рукою по столу, все вздрогнут, а потом когда вскрикнет: Кто создал свет? Ну, скорей отвечать! – школьники одногласно возопят: Виноваты! Вперед не будем! – Наш герой не только разбирал буквы *кси* и *пси*, но и писал чётко и был *востряк* в полной мере; за то Фортуна и влюбилась в него, не смотря на то, что ее поэты зовут кокеткой. Что исчислять проказы отрочества Алексея Дорофеевича? кто молод не бывал, кто не шалил по-детски и по-юношески? И что за беда, если он подавал, бывало, учителю своему умываться чернилами, или мешал табак его с землёю, а страшную шапку надевал на рога козлу и выгонял его на уличную выставку передразнивать своего ментора? Нужнее сказать вам то, что Алексей Дорофеевич тринадцати лет окончил уже курс наук своих и готовился вступить на какое-нибудь поприще жизни.

На Бутырках, в описываемое мною время, находилась та

же самая церковь во имя Рождества Богородицы, какую видим мы и теперь; в нее по праздникам, особенно летом, съезжалось из Москвы множество народа обоего пола к обедне. Не дивитесь, тому была следующая причина: в то время Московским Губернатором или, по тогдашнему, Градодержателем, был Генерал-аншеф князь Александр Александрович Прозоровский; он жила с весны до самой осени на приволье чистого воздуха в Петровском Дворце, Тогда окрестности его были не то, что ныне: выстриженные, приглаженные каменным катком и прозванные *парком*; хотя там давались громкие праздники и сверкали порою, сквозь тёмно-зелёные ветви дерев, потешные огни, но всё-таки памятник Великого Петра, заслонённый лесом, величественно выказывал из-за древесных вершин вычурные, живописные башенки свои. То был не уголок Москвы, а настоящая дача с придами деревень: *Петровского* и *Зыкова*.

Оттуда-то Градодержатель с блестящею свитою, со скороходами и рослыми гайдуками, стоявшими сзади раззолоченной, обитой внутри бархатом кареты, и сидевшими на *крыльцах* её по бокам, приезжал цугом на Бутырки к обедне. За ним тянулись линии других вельмож, чопорно и пышно, с вершниками<sup>12</sup> и другими слугами и прислужниками. На Бутырки тогда прихаживали бывало толпой так называемые

---

<sup>12</sup> Вершник – на Руси в старину конный наездник, всадник на службе у знатных и богатых людей, ездивший перед господским экипажем. Обычай, принятый у бояр, сохранялся в России очень долго.

и славившиеся в то время *Гусарские певчие* в красных каф-  
танах, обшитых золотом, между коими находились и женщи-  
ны, остриженные в кружок и одетые в мужские платья.

Вот по сему-то случаю не только простые горожане и горо-  
жанки московские в праздничных платьях своих, но и вель-  
можи, чтимые жители столицы, роскошно наряженные по  
вкусу тогдашнего времени: мужчины в пышных, густо на-  
пудренных париках, в узких камзолах с золотыми пуговица-  
ми, в белых панталонах, с огромными треугольными шляпа-  
ми под мышкой, в шёлковых чулках и в башмаках с дороги-  
ми пряжками, чинно вхаживали в церковь, а дамы в глазето-  
вых платьях и в пребогатых длиннохвостых робах, усеянных  
блёстками, с готическими головными прическами и с лица-  
ми, улепленными мушками, павами выступали, направляя  
путь свой к почетным местам, отведенным им около клиро-  
са. Их сопровождали обыкновенно и в церковь гайдуки с бу-  
лавами, расчищая ими для бар своих путь по обе стороны.  
Туда хаживал и Алексей Дорوفеевич в байковой чуйке сво-  
ей, или в затрапезном халате, и прямо становился на левый  
клирос на помощь дьячкам, псаломщикам и *трипачам*. В  
то время был он уже видным юношей и хотя почтенный нос  
его всегда походил на букву V, однако он имел выразитель-  
ную физиономию, на которой примечались щедро навешан-  
ные природой тонкие чувства изящества молодого человека:  
лицо его было бело, только под правым глазом носил он си-  
нее пятно от уязвления кулака или камня, неблагонамерен-

но брошенного в него, может быть, каким-нибудь ревнивцем из-за скрытой засады; румянец пылал на его щеках, не то, чтоб розовый, но тёмно-багровый, под цвет домашней браги, до которой он был великий охотник; но когда раздувал он в церкви кадило, то на лице его отражался самый яркий цвет огня и иллюминировал щёки его, вздувавшиеся как меха, самым приятным розовым цветом.

При таких наружных вывесках и внутренних качествах, мудрено ли, что Алексей Дорофеевич обратил на себя взоры многих сановитых людей, но более всех лестное внимание супруги одного из начальников Московского Университета. Почтенная старушка жила и дышала добром: она была богата, но почитала себя такою тогда только, когда могла разделять с бедняком своё имущество. Зоркий глаз её приметил смышлённость и расторопность мальчика, особенно когда он с большой свечой или с налоем совался услужить духовной особе и кричал дишкантиком своим на *чёрный народ*, принуждая их расступиться, а вельможным, великолепным барышням приятно кланялся, еще с откидкою назад правой ноги. Татьяна Ивановна ласково брала его за подбородок и гладила по голове, тогда еще *не гладкой*. Мальчик почтительно целовал благоуханную перчатку её и с самодовольным видом отходил от неё прочь.

Однажды она удостоила его расспросами об его родителях, о домашнем житье-бытье и о проч. о проч. Алексей Дорофеевич отвечал ей удовлетворительно, что еще более по-

правило доброй барыне; лакеи её с коврами под мышками, на которых она усердно молилась, стоя в церкви на коленях, давно уже раскинули пред нею каретную подножку и держали её под руки, чтоб вложить в карету, но она не спешила отъездом своим, продолжала говорить с юношей, стоявшим пред нею, разумеется, без шапки, милостиво и кончила тем, что позволила ему в случае какой-либо нужды явиться прямо к ней на Моховую в Университет. Алексей Дорофеевич вступил уже на четырнадцатый год жизни своей; понятия его об ней развёртывались в голове его понемногу, как клубок ниток, хотя и спутывались так же, как нитки на клубки, когда им играет резвый котёнок; он понимал, что к нему лучше пристанет суконный кафтан со светлыми пуговицами, чем затрапезный халат с ременными застёжками, и что чинное обращение с людьми *высшего тона* более накличет на него чести, чем товарищество с бурсаками, с которыми он кулачился иногда.

Он видал в какой чести *треугольные шляпы*, на каких бы головах ни были они надеты; он видел также, что пред этими шляпами уважительно снимаются простые, круглые, а шапки просто досягают до земли при встрече с *официальным* человеком; даже собаки, завидевшие их издали, прятались от них, прижав хвосты и лаяли им побранки свои из подворотни. А красный-то воротник? – фу, ты Боже мой! – как бы он пристал к сановитому его носу!.. Юноша становился на дыбки, оглаживался – и жажда к тщеславно, начала

палить его душу. Алексей Дорофеевич остепенился: украдкой ходил уже в питейный дом, по праздникам не званивал на колокольне, по будням не рубил дров в сарае, не катался с гор на санках и по льду на коньках, оставил компанию кутейников, неумытых товарищей своих, а пристрастился к зеркалу: страсть к стеклу вообще задвигала его чувствами сильнее прежнего; при взгляде на *благородного* человека, он дулся как лягушка на вола.

Скоро наступил давно ожидаемый другой период его жизни.

Родитель Алексея Дорофеевича был человек неимущий; он с радостью глядел на подростка своей фамилии и мысленно определил отдать его куда нибудь долой с хлебов, чтобы упрочить его жизнь. Однажды завел он с ним речь об этом предмете:

– Пора тебе, Алексей, – сказал он: – самому промышлять себе насущность: ведь ты человек не простой, безграмотный, а *ученый*, читаешь бегло: и Псалтырь и Часослов и всякие кафизмы, пишешь также хорошо, четко, разборчиво; я хочу свести тебя в нашу типографию: там, у меня под рукой, станешь исполнять ты, сперва, как водится, должность тередорщика, а после, при хорошем поведении и смышлённости в работе, может быть, дойдёшь до должности наборщика, а, каково? – начальники полюбят, так чего не сделают!

Отец думал, что сын его обрадуется и кинется благодарить его, но вышло напротив: Алексей Дорофеевич скислил лицо

своё так, как будто принял противное лекарство.

– Нет, батя, я не хочу коптиться в твоей типографии, – отвечал он: – там всё кутейники, да увальни, такие неприглядные; давай мне другую работу!

– Да какую же тебе надобно другую работу, несмысленный! – обидясь, вскричал отец его – Разве посадить тебя, дурня, в табачную лавочку торговать всякими мелочами, так капитала нет. Али услать тебя промыслять крыжовником и пряниками – всё сам пролакомишь на сбитне и на другом чём пропьёшь; ну куда ж ты годишься, лентяй? Да, постой, у меня есть знакомый обойщик...

– Не хочу быть и обойщиком, – прервал Алексей Дорофеевич отца своего: – а вот чего мне желается: отдай-ка меня, батя, к тем мастерам, что вот сидят на лавках в судейских палатах с перьями за ухом и с очками на переносье, да размахивают пером по бумажному полю; вот на нем то повоеводствовал бы я – ведь говорят, у них: что крючок, то и пяточок, что лишь выгнется слово из-под пера, то и согнётся рука за даянием; подумай-ка, сколько рублёвиков можно вычеркать там за один день.

– Понимаю, это подъячие, то есть, приказные люди, – отвечал отец. – Что ж ты хочешь наняться писать что ль у них? Смотри, брат: этих ходячих, отставных, за мошеннические дела *площадных подъячих* бьют нещадно на всяком перекрестке, как бешеных собак, за то, что они морочат добрых людей.

– Не хочу быть ни подъячим, ни приказным, а хочу быть чиновным, благородным офицером, ходить при шпаге и в треугольной шляпе! – упрямо и настоятельно говорил Алексей Дорофеевич.

– Благородным!?! – изумленно произнес отец Алексея Дорофеевича. – Да с чего ты это выдумал неумой такой-сякой? Вот я счищу с тебя дурь-то кнутом семихвостым! Да кто тебя впустит в судейскую? Разве у тебя есть какие *казусы* или денежные погремушки?

Алексей Дорофеевич принужден был молчать, особенно в то время когда отец его размахается бывало руками и ловит своего сына за хохол.

– Готовься в тередорщики, или подай на себя палку! – были последние слова родителя Алексия Дорофеевича.

\* \* \*

*Чему смеешься ты – твоё изображение!..*

Помнит ли кто из читателей моих, когда Университетская Типография находилась еще против самого Университета на месте нынешнего Дворянского Института, откуда пред тем временем только что переехала Межевая Канцелярия в Кремль? Типографию за условленную цену отдавал тогда Университет содержателям: Ридигеру и Клаудию, которые и

распоряжались ею самовластительно. Вот туда-то словоилец Колдуев свел сына своего и чрез какого-то услужливого кума, помощника Фактора, имел доступ к Ридигеру, старшему хозяину типографии. Мальчика погладили по голове, задали ему экзамен, и он быстро прочел две статьи из письмовника Курганова: *перечень человеческих знаний*, и рассуждение Сенекино: *не прилепляй чувств своих к предлагающим увеселениям*, и проч. Кончил он чтение своё следующими словами: *колько полное удовольствие не быть пьяницею!*..

Алексию Дорофеевичу понравилась похвальба его дарованиям и он после чтения в нескольких строчках выставил целый фронт горбатых, крючковатых, изгибистых букв собственного рукописания. Ридигер был в полном, нелицемерном восторге от совершенства образования его: в то время находилось у него не много подобных грамотных людей. Алексей Дорофеевич тотчас же был определён в наборщики, не соблюдая градации повышений. Отец его с радости заликовал так неумеренно, что сын стащил его домой на закорточках; нововступившему положили уже жалованья по целому рублю в месяц и по калачу в день, чтоб заохотить его к должности; но он скоро разлюбил её, всё имея в предмете благородство: то прикинется, бывало, он больным и лежит дома на полатах, раскрашивая лубочные картинки к сказкам Картауса, Еруслана и Ивана Царевича, купеческого сынка; но когда отец, проникнув мысли его, стал делать ему нелас-

ковые провода из дому, вдруг замыслил он бежать; но куда?

Помилуйте, ведь Москва велика; есть где спрятаться, потеряться между людьми. Ощупав в кармане своём сколько-то денег, для бодрости принял он *живительного зелья*, которое возымело скоро свое действие в существе его: прибодрился он и пустился: то рысью, то навскачь по широкой Московской дороге.

Полудеревенский мальчик, кроме Типографии своей, знал Москву более по слуху; прежде же поступления своего в Типографию, хаживал он с ребяташками только в Петровскую рощу за ягодами и грибами. А теперь вздумал посмотреть *свет* и начал с Охотного ряда; это дело было зимой и в какой-то еще праздник. Боже ты мой, что увидел он там! Правда, Охотный ряд в тогдашнее время состоял большею частью из деревянных лавок, раскиданных на том же месте, на каком видим мы их и теперь, но без плана и симметрии; тогда он походил на какой-то Азиатский ярмарочный приют: балаганы, лавки, прилавки, нагруженные возы со всякими съестными продуктами; даже конные выставки для охотников: солидные, толстые торгаши, чушь движущиеся около товаров своих, и свиные туши на дыбках, мёрзлые белорыбицы с выпученными глазами, спрятанные в сани и выглядывающие робко из-под рогож, покрывающих их, как красавиц, от сглазенья, оципаные гуси с посинелыми поджавшимися ногами, как промотавшиеся гуляки без сапог: всё это было вперемежку, всё это представлялось в раме картины об-

щего спектакля, всё это было дико, нестройно; но для мальчика показалось дивным, великолепным зрелищем. Среди Охотного ряда, помнят еще, я думаю, старожилы, находился Монетный двор: там чеканили монету до времен Императора Павла, который, скажем мимоходом, перевёл его в Петербург, а окружное строение подарил тогдашнему обер-полицеймейстеру Павлу Никитичу Каверину.

На всё это зевал малыш так пристально, ненасытимо, до тех пор, пока бочар, ехавший на Неглинную за водою, не столкнул его с дороги оглоблей так неучтиво, что с него свалилась шапка. Молча поднял её любопытный мальчик, вздохнул и подумал: «Вот кабы я был приказным человеком, водовозный пристав не смел бы не посторониться моему благородно и кляча его не фыркнула бы на меня таким фонтаном, и её бы спугнула моя треугольная шляпа».

Он побрёл далее: Никольская не была еще тогда заселена книжниками и фарисеями, этими опекунами чужих умов; там лепились также: где лавочки, а где и часовни. У Казанского Собора сидели юридические нищие: немые, просящие милостыни, и безногие, бегущие за богомольцами, неотступно приставая к ним за подаванием. Алексей Дорофеевич, насмотревшись на Гостиный двор, на Лобное место, на роскошный Кремль, на панораму Замоскворечья с Красного крыльца, на богатые кареты, запряженные цугом, на бархатные козлы их, раззолоченные гербы, на пудельи головы, высывавшиеся из окон её, и на скороходов, одетых в лёгкие

короткие кафтаны во всякое время года, бегущих собачьей иноходью пред каретою и вдруг прыгающих стрекозами шагов на пять вперёд, прошел на Неглинную; где теперь красуется юный Кремлевский сад, там, помнят многие, проползала карикатура рек, мутная Неглинка<sup>13</sup> в грязных берегах своих, заваленных всякими нечистотами; на большое пространство от берегов её расстилалась поляна, также нещадно закиданная даже трупами животных; но кто помнит, что об Масляной на этой речке строились горы с пригорками и балаганы разных позорищ<sup>14</sup>, а катанье экипажей тянулось от Ехолова моста до Покровского? На Неглинной завязывались в то время по праздникам и кулачные бои: там разгуливал и Алексей Дорофеевич, любуясь на построение недельного городка к шумной масляной суматохе; отец никогда не брал его на это гулянье: он катался на обледенелой достке от своего колодезя к воротам, а оттуда прямо в помойную яму – и баста! Но теперь, посудите сами, с каким восторгом смотрел он на аллею вечнозеленых елок, водруженных по бокам гор, на раскрашенные балаганы с надписью: *комедь всякая: конная и фокусная и другие разные позорища*; на разно-

---

<sup>13</sup> Неглинка (Самотёка) – река в центре Москвы, левый приток реки Москвы. Длина 7,5 км, почти на всём протяжении заключена в трубу. Река дала названия многим московским улицам, площадям и станциям метро: Неглинная улица, Кузнецкий Мост и станция метро «Кузнецкий Мост», Трубная улица, станция метро «Трубная» и Трубная площадь, Самотёчная улица и Самотёчная площадь и пр.

<sup>14</sup> Т.е. представлений.

цветные флаги парусинных палаток, веющих так приветливо, как страусовые перья на шляпках дам; ну, словом, взор нашего дикаря захлебнулся созерцанием, и уже пред сумерками Алексей Дорофеевич очутился как-то на Моховой.

Мысль о доброй барыне, ласкавшей его на Бутырках в церкви, быстрее молнии зажглась в его воображении: «Дай пойду к ней, растянусь у ног её, как лягавая Диана, и упрошу избавить меня от *наборщины*; ну, какой я наборщик? – думал он: – Чувствую, что я люблю не слова набирать на достку, а *брать*.... чтоб такое?... взятки!» – Да, он размышлял о чем-то, похожем на это, воображая, что вместо оловянных букв, серебряные монеты как-то щекотливее осязаются сгибом руки. Гений подъячества уже одушевлял его. Университет стоял пред ним. Но как в массе строений отыскать ему жилище милостивой госпожи своей? *Язык доводит до Киева*, уверяет русская пословица, а пословица должна быть справедлива, потому что она есть глас народа, а глас народа – глас Божий, итак, язык доводит не только до Киева, но и до Сибири... Алексей Дорофеевич употребил его в дело, и ему указали на парадные сени Генерала.

Кажется, чего б легче взойти в парадные сени вельможи, чистые, блестящие, устланные ковром; но дорога эта кажется *скользкою* не одному Алексею Дорофеевичу. Разубранный в золотые тесьмы и красные заплаты швейцар не только загородил ему путь широкою булавою своею, но еще начал гнать его с последней приступочки; впрочем Алексей Дорофеевич

не совсем потерялся: он изъявил желание свое видеть Генеральшу и просил допустить его к ней. Швейцару показалась чудною его просьба.

– Да от кого ты, грязный мальчишка? – спросил он. Алексей Дорофеевич произнёс магическое имя отца своего – и не приметя на лице швейцара никакого впечатления от слов своих, изумился, что он не знает отца его, того, кого знают наизусть все Бутырки. Швейцар насмешливо улыбнулся; герой наш, почтя улыбку его за знак особенной милости, ободрился, прыгнул вперед и оставил уже за собой несколько ступеней; вдруг швейцар содрогнул его вскриком: «Куда ты, неумой? да еще и в шапке... Здесь стоят с открытыми головами...» Со словом сим сдёрнул он с него головной набалдашник – и швырнул его на дорогу, а собачонка откуда ни возьмись и давай им играть. Другие мимошедшие очевидцы утверждают еще, что будто бы швейцар шлёпнул его по роже... ну, посудите сами – будущего Коллежского Секретаря ударили по роже! О, Фемида (знаете ли вы Фемиду, подъяческую богиню, которую изображают, как торговку крыжовника и бобов, с весами?), заступись за жрецов своих, защити их рожи!..

Делать было нечего: Алексей Дорофеевич скатился с крыльца и, отыскав покинутую собакой шапку свою, присел на тумбочки подумать: что остается ему делать? И вдруг, что ни говорите, а судьба – кукушка, на журавлиных яйцах высидивает коршунят! – загремели трескучие рессоры –

и к парадному крыльцу подкатилась карета; мальчик более из любопытства, робко приблизился к ней посмотреть, кого она привезла – и узнал свою милостивую, нарядную барыню; швейцару некогда уже было отгонять его; пока рослые гайдуки вытаскивали приехавшую из кареты, он распахнул перед ней двери и пришпилился к ним, став в форменное положение своё.

Госпожа заметила зеваку.

– Что ты, мальчик?.. – спросила она его ласковым голосом.

– О, сударыня... милостивая государыня!.. – больше мальчик не нашёлся, что сказать, как ни силился выразить ей уважение своё; он всё ещё стоял перед ней в шапке и вдруг, спохватившись о невежестве своём, сбросил её с себя прямо в ноги госпожи, трагически всплеснул руками, разинул рот, выпучил глаза и остался на несколько минут в таком положении.

Госпожа хотела ему, как нищему, кинуть в шапку серебряную монету и уйти; но, взглядевшись в лицо его, она вспомнила о нём, как об давно виденном и – и приказала людям проводить мальчика в свои апартаменты.

Услужливая челядь домашняя, встретив госпожу свою, задвинула ее от мальчика стеснённого толпою; и тогда какой-то нахал из лакеев, обмерив его прежде критическим взглядом и приметив убожество парнишки, схватил его за шиворот как пуделя и, приподняв на воздух, чтоб он не за-

марал сапожищами своими налакированного пола, который ему же бы досталось чистить, понёс его чуть не под мышкой сениями – и таким образом вскинул во внутренние покои.

Мальчик не обижался таким приемом: он смотрел не насмотревшись досыта на окружавшее его великолепие. Посудите сами: из дымной, тесной, стоявшей на костылях Бутырской избушки, настоящей квартиры Яги Бабы, судьба перекинула его, как в волшебном сне, в боярские палаты: вдруг увидел он себя окруженного разноцветным хрусталём и бронзою, люстрами и канделябрами, шелковыми драпрами и зеркальными стенами. О чудо чудес! куда ни оборотится он, везде видит отражение неловкой фигуры своей в байковом халате, и торчок того пучка, за который бывало драл его и отец и наставник; какое бы произвольное движение им выступило у него наружу, зеркала передразнивали его во многих местах. – Алексей Дорофеевич, утроенный, учетверенный, представлялся в нескольких экземплярах: ему понравились эти фантазмагорические видения, он был покинут один в зале – и сперва робко, потом смелее, начал издавать из своего корпуса разные позиции, переповторенные зеркалами, как дикий американец, очарованный невиданным видением. Каких затей можно было ждать от необразованного мальчишки: он, подходя к зеркалу, насучивал на изображение своё кулаки, кривлялся, ломался, хохотал от избытка удовольствия, высовывал язык: зеркало, верный живописец-предатель, оно давно уже отпечатывало

формы его; на ту пору где-то вдали запищал кинареечный орган песенку.

Алексею Дорофеевичу тихонько, чуть шевеля губами, пропела в зеркало фигура:

По улице мостовой,  
Ох, ты парень паренёк,  
Твой глупенькой разумок.

Вдруг звуки музыки переменились: орган заиграл весёлую песню: *как пошли наши подружки*; Алексей Дорофеевич не утерпел: подперся под бока и пустился пред зеркалом вприсядку, ботая в раму его ногами, да еще и вскрикивая от избытка удовольствия: *их! их!..*

Музыка прекратилась и послышался громкий, раздольный хохот.

Во все двери, ведущие в залу, были вставлены усатые рожи холопьев, а из потайной дверцы давно выглядывали на Алексея Дорофеевича сами господа-хозяева, любуясь его любованьем на себя; за смехом господ раздался хохот челядинцев.

Насилу вытащили Алексея Дорофеевича, пораженного, устыженного насмешками свидетелей глупостей его, из-под дивана, куда забился он сокрыть позор свой; наконец госпожа, полюбив его еще более за эти проказы, приласкала, ободрила, умыла, накормила его и он начал опять любезничать, рассказывая похождения свои и причину прихода, про-

ся в заключение рассказа своего определить его в какие-нибудь приказные мастера. Откровенность Алексея Дорофеевича понравилась и госпоже и супругу её, которому она уже успела отрекомендовать фаворита своего. Ему обещали исполнить желание его и дав ему на дорогу денег и гостинцев, велели отвезти его домой на собственных пошевнях<sup>15</sup>, взяв наперед с него слово, как можно скорее явиться к ним в дом, где хотели начать хлопотать в его пользу.

Обрадованного Алексея Дорофеевича уже ночью привезли на Бутырки и высадили у ворот дома его.

Словолитец Дорофей Абрамович не поверил сыну своему, что он был в доме именитых бояр и дал ему добрый нагоняй, приговаривая: «Не ври, не бродяжничай, работай, трудись!» и проч.

На другой день, когда золотые сны надежд его рассеялись, он, вздохнув тяжело, опять надел байковый халат свой и его повели в типографию на аркане. – Г. Н. принял его с особенно суровою миной, – лишь только увидел он его, что-то шепнул работникам своим, а его ввел в контору и затворил за собою дверь.

Теперь надобно предуведомить читателей отчего особенно сурово принял Алексея Дорофеевича начальник его:

Накануне того дня, вечером, велено было содержателям типографии, Г. Г. Н. Н. явиться к его превосходительству,

---

<sup>15</sup> Пошевни мн. – "розвальни, широкие сани, обшитые лубом", новгор. (Даль). От пошев "корзина из коры", арханг., пошóв – то же, вост. – русск.

одному из кураторов университета. Они спешно исполнили его повеление и предстали пред его вельможеством чинным порядком!.. Генерал объявил им, что он хочешь взять из их ведомства под своё покровительство такого-то мальчика, сына словолитца. На желание его немцы прежалостно возопили и завыли ему свои жалобы хором:

– Помилуйте, ваш прескадительсва, ми по сил контракт не дольшен пускать никакой шелоек на фолью, ми плотим тенги за то...»

Генерал думал, думал, приложив палец ко лбу, на что б ему решишься; между тем немцы как ни были горды, учащали кланяться ему до земли; он был человек справедливый и понял ясно, что нарушит привилегию содержателей, отнимая у них их достояние.

– Ну, ступайте! – воскликнул он наконец: делать нечего, если нельзя того исполнить!

Немцы, продолжая раскланиваться, безмолвно выбрались один за другим из приёмной его, обрадованные, что дело кончилось в их пользу, и взбешенные на Дорофеевича, что по его милости так напугали их зовом к Генералу, что они не успели за ужином доесть своего бутерброда и допить несчётную бутылку пива.

Возвратимся к покинутому герою нашему в конторе типографии.

Не долго оставили Алексея Дорофеевича в неведении о грядущей участи его: принесли пуки розог и хотели было по-

святишь его должным порядком в рыцари букв; но он был тогда еще проворен, как кошка гоняясь за милым предметом своим, бросился он к окну и с рамой его пробился наружу, но не совсем счастливо: в окна вбиты были гвозди для каких-то, может быть, голубиных припорок, и он, зацепившись за них космами нерасчёсанных волос своих, повис, как новый Авессалом на воздухе. За ним бросились; уже несколько рук потянулись в окно за добычей своей: Алексей Дорофеевич висел как удавленник, с мужеством терпел нестерпимую боль, на лице его в это время вытискивались явственно корчи тела; и вдобавок того, заметив еще за собою погоню, с твердостью решил он рвануться, и, увы! оставив большую часть кудрей своих на гвоздях для завивки птичьих гнёзд, опустился на землю.

Вот первое обнажение столицы существа его.

Он бросился бежать прямо к заступнице своей; швейцар не был уже для него недоступным и пропустил его молча в парадные сени. Милостивая госпожа сама встретила несчастного, гонимого рукою судьбы, в которой держала она пук розог; ласково, внимательно выслушала она жалобу его и сколько могла успокоила юношу и даже посадила его с собою на софу, обитую штофом и золотую тесьмою, во всем неприглядном одеянии его – и потом послала за содержателями типографии, которые жили недалеко от нее.

Немного погодя они явились.

Госпожа приняла на себя серьёзный вид; мальчик затре-

петал, увидя их, и прижался к госпоже своей, и они смутились не менее, увидев там упрянца своего, еще ненаказанного и сидящего рядом с *именитою госпожою*.

– Слушайте, немцы? – начала Генеральша, возвыся голос: – Как смее вы управляться с работниками своими, как с закабалёнными рабами? Разве они вам отданы в крепость? А?.. – Тут госпожа привстала с угрожающим видом, отчего немцы попятились, как будто на колёсах отъехали к дверям.

– Ми-ми, ви-ви сударынь, о! помилуйте, es ist nicht mahr... ben Gott; ben Gott...

– Что тут за оправдания? – прервала их госпожа: – Сию же минуту отпустить мальчика из ведомства типографии...

– О! nein, nein... сама нужна! – заспорили с ней немцы.

– Как! Вы еще смеете грубить, шмерцы проклятые?! Кому же? Мне? Начальнице своей! Ах вы, немчура окаянная, да знаете ли, что я уморю вас в тюрьме... Гей, люди! – воскликнула она, сопровождая слова свои звоном колокольчика, и когда вбежала толпа официантов, она, показывая на трепещущих иностранцев, сказала: – Свести немцев на Съезжую, а к обер-полицеймейстеру я напишу особенное письмо.

Люди приступили к ним.

Содержатели типографии поняли в чем дело. Московскую Съезжую тех времён они знали, и всегда обходили её мимо, чтоб не зацепиться за что-нибудь и не унести на боках своих палочной награды; они повалились в ноги госпоже:

– Что твоя надо, матушкин, возьми, делай! – вопили они.

– Нет, нет, ничего мне не надобно теперь, – хладнокровно отвечала Госпожа, заметив испуг их, и пошла прочь.

Испуганные немцы пресмыкались пред нею, как лягавые увиваясь у ног её.

– Ну, хорошо! – сказала она наконец: – Как можно скорее отпустите мальчика, а то я завтра же напишу еще в Петербург, – и топография передастся другим!

Слухи пронеслись, будто содержатели, выходя из комнаты, с угрозою посмотрели на романического героя, и он будто бы расхрабрился жестоко после их ухода.

На другой же день Алексей Дорофеевич был отпущен от подданства типографии законным порядком, а через неделю был определён с чином копииста в третий департамент Магистрата, имея от роду тринадцать лет; это было в 17.. году.

Вот наконец и стал он хотя и не совершенным приказным мастером, но сперва подъяческим подмастерьем. Пользуясь милостями Генеральши и смышляя сам разные обороты, зажил он славно. Гений подъячества, ровесник его, родившийся вместе с ним или, быть может, втянутый им когда нибудь из кружки, одушевил его. В Магистрате была его стихия: там он быстро развил клубок понятий своих, целиком проглотил все подъяческие термины и не только скорчил руку, но и сам от прилежного письма *согнулся* навеки крючком. Словом: он в полной форме заслужил себе название *кривосуда*. Тогда брать взятки не почиталось большим грехом; но Алексей Дорофеевич всегда хоронил их от жадных, завистливых

товарищей своих... для чего бы это, думаете вы? – отгадайте! ну, разумеется, чтоб не делиться с ними. Когда проситель давал ему *благодарность* свою прямо в руку, это он называл «приёмом с парадного крыльца», а когда выдёргивал он за ремешок крышку тавлинки своей и потчuya его табачком, нудил одним взглядом вложить ему туда что-нибудь; это он называл «приёмом с заднего крыльца». Да мало ли было у него подобных занятий: он приучал нуждающихся в его помощи вкладывать ему деньги в гербовую бумагу, за обшлаг рукава и проч., и перемещал их после в карман, или под язык, за щеку, и т. д.

Ужь как за красовался Алексей Дорощеевич на Бутырках своих, разгуливая в свободное время по тамошним улицам: он купил себе щегольской, плисовый картуз с большим козырем и с шелковою кисточкой на макушке, а халат променял на тёмно-зелёный кафтан с придачею двух рублей без гривны. Впрочем, надобно заметишь, тогдашняя голытьба подьячих, особенно в Магистратах, Думах, Управах, Гильдиях, Межевых, Приказах, Уездных, Земских и Надворных Судах и прочих низших дистанций была не очень великолепна ни видом, ни костюмом своим. Многие из приказной челяди ходили в Палаты свои только за жалованьем и оттуда вскоре спускали их в Яму отрезвиться, почти что опять до первых чисел нового месяца; наряжались они так же, как и Алексей Дорощеевич прежде: в байковые и нанковые сюртуки и были век неумыты, небриты, краснорожи, с карманом оттянутым

от груза медных денег, как у дьячков, подпоясанные веревками, обрывками суконной каймы и проч., и сидели в закопченных судах своих просто на поленьях дров, уставленных стоймя; после присутствия уносили они седалища свои под мышкой домой, чтоб товарищи не стянули их и не пропили – тогда б пришлось сидеть им на орудиях хождения своего. Пописав немного, подъячие, закинув перья за уши, нагибались под стол, вытаскивали из-за широких голенищ сапог фляги с сивухой, и пили приставя без церемонии горлышко к губам своим, как будто играя на волынке; после подкликали к себе пирожника или сбитенщика, разхаживавшего тут же, и свертывая мягкий масляный пирог в трубку, пожирали его жадно, между тем как масло капало на их бумагу, а табак сыпался как перец.

А иногда, вместо закуски, жевали они просто жвачку из бумаги, извлекая и из того какую-то для себя пользу.

Да простят меня деликатные читатели за верную обрисовку быта несчастного подъячества. Я изобразил (хотя Теньеровскою кистью и Измаиловским пером) истину: пусть сами они вступятся за меня. Да впрочем, из взыскательных, кто хочет, пожалуй себе не читай вышеописанного; я кончаю этим мое оправдание. Хвала просвещению нашему – хоть скольконибудь, но всё подвигаемся и мы вперед, а кто едет навстречу нам – те остаются назади. Туда им и дорога!

Алексей Дорофеевич отличался от многих товарищей своих опрятностью; этому была причина: внимание к нему

почтенной госпожи, имя которой многие вспоминают и до сих пор с благоговением. Он прослужил недолго в Магистрата своем: дела оттуда поступили в Камеральный и Юстицкий Департаменты, где были председателями генералы Михайло Васильевич Волынский и Барков. Они, казалось, не были склонны покровительствовать ему. И потому, получив сперва чин подканцеляриста, потом целого канцеляриста, перешёл он без дальних хлопот и приключений служить в Межевую канцелярию. Госпожа его, сделав для него последнюю милость: отрекомендовав его генералу Апрелеву, управлявшему Временным отделением Межевой Канцелярии, скончалась; скоро умерли и родители его, не успев досыта налюбоваться на свое детище – и таким образом Алексей Дорофеевич, совершая по ним частые тризны, зажил уже почти что одной совершенной сиротинкой, хотя племя фамилии его было рассеяно по всем Бутыркам.

Жизнь его скинула уже слишком 20 лет с костей долой.

Генерал Апрелев полюбил молодого человека за расторопность и взял его служить и жить к себе в домашнюю канцелярию: тут-то Фортуна полила на него из рога изобилия дары свои. Смело и весело зажил он... только прославленные поэтами вино и женщины губили его немного, а кого не губили они? И пылкие и холодные рассудки, и горячие и хладнокровные темпераменты; – но дело не до них: Алексей Дорофеевич, будучи в любви и милости у такого человека, как г-н Апрелев, получал богатые доходы и, разумеется,

уже был почитаем всеми знакомыми своими, имел многих поклонников: тщеславие его развертывало почки свои – он одевался богато, ел сытно, пил много и являлся не последним на всех Московских гульбищах.

Еще несколько зёрен терпения, читатель: великолепный Алексей Дорофеевич, помните, откупился от розог большою частью волос своих; к довершение уничтожения их, когда-то ночью, сказывают современники его, напал на него целый хоровод летучих мышей и начал выщипывать у него из головы по волосинке, гоня его полем из Москвы на Бутырки; даже плисовый картуз с большим козырем и звание подъячего не спасли несчастного. Как и от чего это случилось, право не знаю: может быть обнаженная голова его светилась по ночам, как гнилушка, а для летучих мышей свет – магнит, притягательная сила. Не верите? – Взгляните в Оракул или в Сонник, и там найдёте вы: *секрет от чего не растут волосы* – тому причиною также летучие мыши.

Другие напротив утверждают, что Алексей Дорофеевич был подвержен лунатизму и хаживал по ночам неугомонным дозором мимо тех окон, откуда замечал он днем мелькание хорошеньких женских головок с их приветными уловками, и однажды, во время такого путешествия его, облила его невидимая рука, должно быть какою-нибудь спиртоватою влагою, потому что после того полиняло не только платье его, но и голова совершенно, за остатком 99 волос по счёту самого домового, который ласковою рукою завивал их ему.

Алексей Дорофеевич не унывал: так как он страстно, до исступления любил весь женский род во всех разрядах его, то вздумал купить себе для украшения, а ему для прельщения, пышный парик с косою, которая преизящно загибалась у него сзади собачьим хвостом; в этом новом украшении стал он казаться еще великолепно: все Бутырские красавицы, варящие щи, моющие чугуны и полющие морковь и картофель в огородах, ходили за ним станицами и любили до безумия кошелёк его, который расточался для них на пряники, орехи и вино.

\* \* \*

Везде смотрел я циркулярно,  
Но не нашел такой красы!  
Люблю тебя я формулярно,  
О милый бич моей косы!..

Вот наступил еще новый период жизни Алексея Дорофеевича.

Настало лето – светлое, прелестное, улыбочивое, как счастливая любовь; сердце Алексея Дорофеевича расступилось, растворило скрипучую заслонку свою для принятия живых впечатлений природы; ему наскучило однообразие: вино, чернила и кухарки – он вздумал посвятить жизнь свою ка-

кому-нибудь одному предмету, понимающему его насквозь, который бы мог вполне оценить чувства его и натиснуть на них свою пробу.

Случай к тому открылся скоро.

В то время было гулянье по праздничным дням в Петровском-Разумовском селе, которое застали и мы во время владения им князя Долгорукого; но тогда оно принадлежало еще фельдмаршалу Кирилле Григорьевичу Разумовскому. Особливо в Петров день<sup>16</sup> радушный хозяин славно угощал московскую публику: в крытых тенистых аллеях прелестного сада играла музыка – доморощенные артисты его громко били в литавры; в других местах певчие (заправские) и песельники раздольными своими песнями потешали гуляющих. Полицейские чиновники так же чинно, как и теперь, в красных мундирах с эполетами, на которых изображен был Георгий Победоносец, с воротниками железного цвета<sup>17</sup>, ставили фрунтом в разных местах для наблюдения порядка. Народ пестрыми толпами переливался из аллеи в аллею. Там было несколько цветников: из ароматных растений и прелестных женщин. Вечером перед домом весь обширный луг и сад горели бриллиантовыми и сапфирными огнями площадок и Фонариков; на воздухе кипел и крутился фейерверк:

---

<sup>16</sup> 29 июня.

<sup>17</sup> А в Петербурге хаживали полицейские чиновники в то время в голубых мундирах с черным бархатным воротником.

ракеты хлопались как пробки из бутылок, бураки<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Бурак – бумажная трубка, набиваемая горючим составом и хлопушкой (зарядом пороха), для потешных огней.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.